



М. Н. ГУБОГЛО

АНТРОПОЛОГИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ



STUDIA HISTORICA

Михаил Губогло

Антропология повседневности

«Языки Славянской Культуры»

2013

УДК 316.7
ББК 28.71

Губогло М. Н.

Антропология повседневности / М. Н. Губогло — «Языки
Славянской Культуры», 2013

Синтез воспоминаний («Путешествие в детство»), мемуарной литературы и исследовательских проектов, на основе которых написана «Антропология современности», дает новое видение ритмов, смыслов и стратегий повседневной жизни. Будучи вынужденным свидетелем и непосредственным участником сурового послевоенного времени, периодов «оттепели» и «застоя», а также перестройки и маргинального постсоветского времени, автор отражает соответствующие исторические образы времени, повседневную жизнь, ее креативные, творческие и бытовые аспекты. Повседневная жизнь открыта и неисчерпаема. В ней сохраняется культурное наследие народа и ведется диалог с вызовами современности. В этом убеждает исследование гагаузской художественной литературы, которая подпитывалась как реалиями традиционной культуры народа, так и великими достижениями русской и культур народов Советского Союза. В книге показано современное состояние гагаузской школы изобразительного искусства. Время и векторы его становления и вызревания, как и литературы, основаны на изображении и осмыслении повседневности. Они совпали по фазе с той эпохой этнополитической жизни гагаузского народа, в которой была создана государственность. Отраженная в живописи проблематика связана скорее с изображением повседневной, чем политической жизни.

УДК 316.7
ББК 28.71

© Губогло М. Н., 2013

© Языки Славянской Культуры, 2013

Содержание

Предисловие	7
Введение	14
Список использованной и ассоциированной литературы	18
Часть I	20
Раздел I	20
1. Социальные функции повседневности в поствоенном периоде	20
2. Повседневная жизнь в зеркале автобиографии	24
3. От александровской «весны» к хрущевской «оттепели»	31
Раздел II Элементы повседневности в сфере труда	36
1. «Айда по горох» – приглашение к адаптации	36
2. Хозяйственно-экономические векторы повседневной жизни	40
Раздел III	45
1. Излом повседневности	45
1. Переворошенный муравейник	45
2. Аллах сабур версин (Дай, Бог, терпенья)	49
Конец ознакомительного фрагмента.	51

М. Н. Губогло

Антропология повседневности

© Губогло М. Н., 2013

© Языки славянской культуры, 2013

* * *

*Ищут люди опору в том.
Что было давно.
Там, где проблемы мельче
(если бы так всегда).
Там, где машин – поменьше,
Где подлинней – года.
Там, где они не мелькают,
Там, где светло и тепло...
Прошлое успокаивает
Тем, что оно прошло.*

Роберт Рождественский

*Историк не тот, кто знает.
Историк тот, кто ищет.*
Люсен Февр.
Бои за историю. М., 1991. С. 507

Предисловие

Академик В. А. Тишкое

К 75-летию М. Н. Губогло

На перекрестках ряда наук – истории, психологии, этнологии и филологии формируется новое междисциплинарное направление, в известной мере оппонирующее классическим наукам и номинирующее себя словами своих адептов то «антропологизацией авторства», то «лирической историографией», то «исповедальным стилем», то «сам себе этнолог». Суть этого новомодного течения состоит в смещении исследовательского фокуса с описания исторических и социологических фактов, событий, организаций и структур на анализ поведения конкретного человека и восприятия им самого себя в связи с исполнением функциональной роли.

М. Н. Губогло предлагает обратный ход: от описания конкретных поведения конкретных лиц и известных личностей к поискам смыслов их повседневной жизни во времена смены исторических этапов советской и российской истории. Он – свидетель поствоенного времени, когда страна в муках позднего сталинизма с трудом поднималась с колен, питаясь скорее духом победы и патриотизма, чем нарастающими мизерными шагами по обеспечению материальных благ. Его студенческие и аспирантские годы пришлись на хрущевскую оттепель, на истоки и на «расцвет» брежневского застоя. В пору академического периода жизни ему было дано вместе с Ю. В. Арутюняном, Л. М. Дробижевой стать одним из основоположников конкретно-социологических исследований повседневной жизни, культуры и быта народов, исследований, ставших основой этносоциологии как нового научного направления.

Очерки, помещенные в его новой книге «Антропология повседневности», свидетельствуют не об отречении от опыта и наработанных методов этносоциологии, а о продолжении ее новаторских традиций.

Здесь представляется уместным обратить внимание на тот факт, что важным фактором возникновения и развития этносоциологии как науки, связавшей этническое с социальным и социальное с этническим, выступило стремление науки и власти к достижению взаимного доверия. Это стремление было основано на том, что в 1960–1970-е гг. стареющая и морально хиреющая политическая и административная власть нуждалась в доброкачественной экспертизе состояния дел в сфере межэтнических отношений. Власть нуждалась в рекомендации по оптимизации этой сферы и в регулировании этногосударственных отношений на научной основе. Она чувствовала или знала, но опасалась обнародовать, что доктрина советской национальной политики дает сбой. Особенно в части таких ее аспектов, как в продолжении политики аффирмативных действий, в курсе на тотальное сближение наций, в политике выравнивания уровней экономического и социального развития народов, уровней жизни городского и сельского населения, умственного и физического труда. К концу 1990-х гг. о нелепостях, имеющих место в сфере межнациональных отношений, заговорила не только научная, но и художественная литература. О многом, в частности, говорит пассаж, приведенный в романе «Ложится мгла на старые ступени», публикация первых глав которой началась во второй половине 1990-х гг., в т. ч. в журнале «Знамя». Граждане Советского Союза, воспитываемые в духе интернационализма, понимали, что политика помощи «отсталым в прошлом народам», именуемая на Западе политикой аффирмативных акций, оказалась на практике несостоятельной. Она приводила к ускоренному росту социальных претензий и формировала негативные установки, в частности, к представителям титульных национальностей, которым предоставлялись какие-либо льготы в ущерб другим народам.

В классе был интернационализм, – вспоминает свои школьные 1940-е годы А. П. Чудаков, автор вышеназванного романа, – правда, представителей всех наций, кроме немцев, было по одному: кореец, каракалпак, эстонец, полька и даже китаец... – и далее следует убийственная фраза, обличающая суть такой национальной политики, когда приоритеты представителям одной нации создавались за счет каких-либо других. – Казашка также была одна – Джабагина, ей потом по рекомендации райкома дали серебряную медаль [Чудаков 2013: 276].

Академик Ю. А. Поляков, объездивший среднеазиатские республики вдоль и поперек, имел основание сделать вывод о том, что «выращенная при самом активном участии преподавателей и ученых России республиканская интеллигенция стала главной носительницей националистических, сепаратистских тенденций» [Поляков 2011: 363].

Понятно, что наука и образование в таких условиях нуждались в освобождении от идеологических пут, которые тяжелыми гирями мешали ее двигаться дальше, в стремлении не отставать от уровня мировых тенденций. В изначальных исследовательских проектах, разработанных Ю. В. Арутюняном, О. И. Шкаратаном, Л. М. Дробижевой, В. В. Пименовым и другими сотрудниками Института этнографии АН СССР, немедленно обнаружилась проблема доверия, имеющая многие смыслы, как в накоплении информации, адекватно отображающей реальные межэтнические и межкультурные ситуации, так и значения, придаваемые этническим явлениям неэтническими факторами.

Вместе с тем, главы и очерки книги М. Н. Губогло ориентированы не столько на воспроизведение «абсолютной объективности», сколько на достижение эффекта реальности, или, как сказал И. В. Нарский, солидаризируясь с Н. Н. Козловой, на достижение эффекта реальности, наглядности и даже осязаемости «ощущения подлинности воскрешенного прошлого» [Козлова 2005: 18; Нарский].

Вместо наполнения истории, прошлой и современной повседневной жизни тем или иным политическим, научным и художественным смыслом в соответствии с характерным для этносоциологии стремлением к отражению «объективной реальности», на передний план выступает раскрытие значимости интеллектуальных смыслов или событийной интриги. Через откровенное и искреннее самопознание авторской позиции и авторского образа жизни («исповедальная автоэтнография») прокладывается тропа к пониманию содержания и сути того или иного этапа истории в жизни окружающей среды и страны [Губогло 2008а: 76–87; 2012: 174–191].

Гарантией от прегрешений субъективного восприятия себя и стратегии поведения своих «антропологических» героев, в подходе, избранном М. Н. Губогло, служит его профессиональный долг и опыт этносоциолога-эмпирика, привыкшего ходить «по земле» и иметь дело с конкретными документами, данными ведомственной статистики, информацией об исторических событиях и нарративными текстами. Опора на личные воспоминания представляет собой не бунт этносоциолога, а пополнение арсенала новой науки дополнительными возможностями, не опровержение, а подтверждение этносоциологии, как части антропологии и ее потенциальных возможностей в деле осмысления истории и современной повседневной жизни.

Для того чтобы играть на скрипке, надо, во-первых, обладать музыкальным слухом, во-вторых, владеть определенными навыками, в-третьих, иметь знания и способности, и, наконец, в-четвертых, надо быть в настроении играть. Для того чтобы вспоминать свои детские и юношеские, студенческие и аспирантские времена и их культурные берега, извлекать из небытия события, личности и факты, раскрывать смыслы и значения увиденного и прочувствованного, надо иметь цепкую память, наработанные навыки этнографического описания, приемы этносоциологического толкования смыслов и способности доходчивого изложения. И, наконец, надо иметь настроение и социальную ответственность в создании правдивой картины прошлой повседневной жизни.

Настроение – дело наживное. М. Н. Губогло умеет настраивать себя на позитив. Иначе зачем воспоминания, как диалог с самим собой?

Обращение к автобиографии как к источнику и жанру этнологического исследования в известной мере корреспондирует с биографиями ученых, написанными их учениками, поклонниками, коллегами по цеху, по поводу тех или иных юбилейных дат. Могу напомнить получившую общественный резонанс серию «Портреты историков. Время и судьбы» [Портреты историков 2000–2010]. И хотя представленные в томах этой серии очерки не являются каноническими биографическими или аналитическими эссе, в них освещаются исследовательская практика и итоги по известным проблемам истории и культуры, в том числе по истории повседневной жизни народов России и других стран мира. В связи с актуализированной в последнее время тематикой, посвященной повседневности, особый интерес вызывает, например, творческое наследие замечательного русского историка второй половины XIX в. Ивана Егоровича Забелина [Портреты историков 2000–2010, 1: 65–77].

Попытки некоторых современных исследователей представить предметную область повседневности, как исключительно новомодное направление, пришедшее на рубеже XX–XXI вв. в Россию извне, представляются неубедительными в свете трудов И. Е. Забелина, неоднократно изданных во второй половине XIX в. [Забелин 1862–1869; 1872; 1895; 1915; 1918] и, к сожалению, оказавшихся неупомянутыми в фундаментальном историографическом обзоре «Истории русской этнографии» классика советской этнографии С. А. Токарева (см. «Указатель имен» в [Токарев 1966: 443]).

Отечественная этнология дореволюционного периода, в том числе в деле изучения повседневной жизни народов, развивалась в рамках общемирового процесса наравне или в опережающем режиме по сравнению с ведущими этнологическими и антропологическими школами Европы и США. Некоторые важные вопросы повседневности нашли освещение в трудах этнологов, что нашло отражение в ряде очерков серии «Портреты историков», в том числе о творчестве Ю. В. Бромлея, М. М. Ковалевского, С. А. Токарева, С. П. Толстого [Портреты историков 2000–2010, 4: 53–70, 257–281, 446–261, 462–484].

Хорошо, когда создание текста и текстов – это не только изнурительный будничны труд, но и праздник души, адекватное вдохновение для творчества. В противном случае вряд ли можно было бы ожидать от М. Н. Губогло написание около двух десятков книг. Вряд ли можно было бы ему осилить крупномасштабный проект «Национальные движения в СССР и постсоветском пространстве», состоящий из изданных 130 томов с аннотациями и комментариями документов эпохи развала Советского Союза на рубеже веков. Вряд ли в новое постсоветское время можно было бы вместе с коллегами создать 12-томную этнополитическую историю Удмуртии и 10-томную серию сборников «Курсом развивающейся Молдовы», не имея для этого достаточных материальных средств и полагаясь, главным образом, на энтузиазм и на обретенную свободу творчества.

Важнейшей заповедью профессионального антрополога является попытка нащупать с изучаемыми людьми общую почву.

Мы... говорим о некоторых людях – повторял за Витгенштейном К. Гирц, – что мы их видим насквозь. На этот счет важно, однако, заметить, что один человек может быть полнейшей загадкой для другого. Мы удостоверяемся в этом, когда попадаем в чужую страну с совершенно чуждыми нам традициями; более того, нас не спасает даже знание языка этой страны. Мы не понимаем людей (и вовсе не потому, что не слышим, что они друг другу говорят). Мы не можем нащупать с ними общую почву [Гирц: 20].

В поисках общей почвы, что составляет суть этнологического исследования, антропологи не стремятся, как считает К. Гирц, «ни превращаться в natives, местных жителей, ни подражать им» [Гирц: 21].

М. Н. Губогло в его новой книге не надо ни «превращаться» в тех современников или в тех личностей, о ком он пишет, ни «подражать» им. Восстанавливая дух, атмосферу и настроение прошлого, он сам является одним из них, и у него с большинством из его героев

имеется общая почва. Инкорпорирование героев в контекст времени и ткань повседневности позволяет приподнимать завесу эпохи и пелену прошлого, подобно тому, как реставраторы за каждым слоем «черной доски» раскрывают на старой иконе лики и блики прошлого.

Предпринятое автором «путешествие в детство» в первой части его книги не навеяно его ностальгическим желанием реанимировать его изначальную этническую или раннюю социальную идентичность. Его воспоминания о поствоенном периоде продиктованы профессиональным интересом, что в конечном счете позволяет добавить новые краски к тому периоду советской истории, противоречивость которого до сих пор остается за пределами предметной области исторического знания [Тишков 2013: 291].

«Путешествие в прошлое» продолжается в двух других частях книги. Вспоминая своих друзей и коллег и рефлексирова по поводу их творческого наследия, М. Н. Губогло раскрывает мощную энергетическую силу мотивированности молодежи 1970–1980-х гг. социализацией и адаптацией к внешней среде и вызовам времени. При этом красной нитью через ряд очерков проходит освещение и характеристика великой роли русской культуры в деле социализации молодых поколений и в деле становления литератур и культур младописьменных и бесписьменных в прошлом народов.

Чем объяснить появление необычной книги? В основе новейших течений с обостренным вниманием к авторским мотивам и интенциям лежит возникшая в постсоветский период неудовлетворенность концептуальным арсеналом и методическим инструментарием классической исторической науки. Она по инерции в ряде случаев обращается к безымянным массам, социальным слоям, структурам, к немym статистам «великой истории», общественно-экономическим формациям, в ущерб исследованиям «маленьких людей» и безымянных героев. Между тем впечатляют новые инициативы и исследовательские проекты, посвященные этнической истории народов, происхождению и развитию условий жизнедеятельности и жизнеобеспечения человека, его ментальности, стратегий поведения и их толкований.

Вместе с тем, предлагая и инициируя новые повороты в исторической науке второй половины XX в., радикально настроенные неофиты адресовали неоправданные упреки историкам и, понятное дело, рикошетом к этнологам, обвиняя их в тривиальном пересказе данных, извлеченных из источников, без стремления распутывать узлы истории, разгадывать мотивы и локомотивы,двигающие целеполаганием и целедостижением людей. Нет сомнения, что интерес к судьбам отдельных людей значительно расширяет горизонты гуманитарного знания, в том числе путем исторических и этнополитических исследований [Горизонты... 2008].

В очерках М. Н. Губогло видное место наряду с фактами и событиями депортированного времени, совпавшего с его школьными годами, занимают социально-художественные образы, воссозданные памятью и воображением. Одним из таких образов выступает мост через реку Миасс. На берегах этой тихой речки, круто, во весь горизонт, разливающейся в пору весеннего половодья, прошло его детство и первые годы социализации и вступления во взрослую жизнь. Поэтому он умеет запрягать лошадь, сажать, полоть и копать картошку, лепить пельмени, жарить семечки конопли, кормить поросят, пасти овец и поить корову, косить траву и колоть дрова.

К символике, семантике и многозначным смыслам Каргапольского моста он прибегает неоднократно в ряде очерков, в том числе в длившейся 40 лет дружбе и переписке с любимой учительницей Ульяной Илларионовной Постоваловой. В реальности мост, соединяющий районный центр Каргаполье на левом берегу Миасса с вереницей сел на правом берегу, представлял собой деревянную конструкцию с примыкающими ледоколами (быками), как летящий в небо шедевр архитектурной мысли. По местным преданиям, этот мост был построен белогвардейцами в 1918 г и был разрушен накануне развала Советского Союза. В воспоминаниях М. Н. Губогло Каргапольский мост – это космическая точка на евразийском пространстве, соединяющая прошлое и настоящее, домашний очаг и дороги, поэтику духовности и прозу

картофельного поля, радость встреч и горечь расставания. Мост – это магнит, сильно притягивающий к себе молодежь и стариков, притягивающий сильнее, чем сельский клуб, чем стадион или спортивный зал. Мост, определяющий дистанцию между своим и чужим, между малой родиной и внешним миром, между региональной и гражданской идентичностью, помогающий порой выяснить подростковые отношения между обитателями правого и левого берега Миасса. Мост, подобно Великому Шелковому пути, соединяющий мир Запада и Востока. Мост, вобравший в себя этапы социализации и обретения смыслов жизни, в то же время наделен символом и безысходности, и надежды, и выдает в М. Н. Губогло скорее оптимального оптимиста, чем опального пессимиста и адепта отчаяния [Губогло 2008а].

Саморефлексия профессионалов, обратившихся к своим воспоминаниям в проектах автоэтнографии, приобретает не только особую привлекательность, но и источниковедческую ценность.

Обращаясь к изучению своей собственной профессиональной среды, – как поясняла свою мысль российская исследовательница Т. Б. Щепаньская, – мы получаем возможность протестировать этнографические методы, обычно применяемые для изучения символически отдаленных традиций, на материале, максимально знакомом и близком для большинства коллег. Это позволяет этнографу, как исследователю и одновременно носителю описываемой традиции, наглядно проследить трансформации материала, которые происходят в результате его полевой фиксации и последующей текстуализации [Щепаньская 2003а: т. IV, № 2: 166].

В разделах второй части, посвященных выдающимся личностям, в том числе обучавшимся и работавшим в Институте этнографии АН СССР, друзьям и коллегам по МГУ, раскрывается их вклад в осмысление повседневности, а также отдельных этносоциальных процессов и идей или научных направлений. Выбор героев для своих очерков и россыпи жадных воспоминаний далеко не случаен. С каждым из них связана та или иная этническая концепция, теория адаптации или парадигма формирования идентичности или структуры повседневности и образа жизни.

Проникновению в духовный мир основоположника гагаузской художественной литературы Д. И. Кара Чобана и С. С. Курогло способствуют переводы их стихотворений и осмысление внутренних мотивов их творчества. Впервые в молдавском литературоведении раскрываются истоки творчества гагаузских поэтов, вдохновленных знаменитыми произведениями российской «деревенской», «фронтовой» и «интеллигентской» литературы, практикой собирательства икон и старины, получившей распространение с легкой руки Владимира Солоухина.

Этнологический анализ произведений указанных поэтов, друзей М. Н. Губогло, позволяет выявить общие тенденции приобщения более чем 200-тысячного двуязычного гагаузского населения, исповедующего православие, к культурному наследию русского народа и других народов к русскому миру. Историческое значение этого вывода заключается в том, что в становлении и жизнеутверждении русского мира наряду с различными вариантами диаспор немаловажную роль сыграло добровольное вхождение некоторых этнических групп, изначально не идентифицирующих себя с русской или российской идентичностью, но выработавших в своей ментальности ориентации на русскую историю и культуру. Исследования состояния языковой ситуации в Республике Молдова, проведенных в ходе реализации ряда научно-исследовательских программ, нашли отражение в ряде коллективных монографий, подготовленных по инициативе и под руководством М. Н. Губогло [Молдаване 2010; Гагаузы 1993; Гагаузы в мире... 2012].

На конкретном эмпирическом материале и на основе личных наблюдений М. Н. Губогло в них показано, что оснований думать о дерусификации гагаузского населения и об усыхании русскоязычия и культурологического тяготения гагаузов к русскому миру и русской культуре нет. Скорее имеет место, о чем с сожалением пишет М. Н. Губогло, ослабление поддержки

языковой ситуации в Молдове со стороны России и русского мира в деле сохранения русскоязычия.

Труды двух ближайших друзей – Юрия Борисовича Симченко и Юрия Израэловича Мкртумяна, наделенных большим талантом этнографов-полевиков, вошли в золотой фонд отечественной и армянской этнологии. Научные и художественные тексты Ю. Б. Симченко стали библиографической редкостью подобно, в свое время, трудам М. А. Булгакова, О. Э. Мандельштама, А. И. Солженицына и других авторов, не сразу получивших выход к широкому читателю.

Советское общество, вопреки имеющему широкое хождение на Западе мнению о железном занавесе, было открытым обществом в том смысле, что социальная и социально-профессиональная карьеры не покупались за деньги, а строились на личной инициативе граждан, в том числе благодаря доступности высшего образования. Рассказывая еще о двух своих друзьях, ставших известными профессорами в элитной среде московских историков – об Александре Степановиче Руде и Сергее Кулешове, М. Н. Губогло вспоминает о восприятии бывшими провинциалами стратегий адаптации в повседневную жизнь Москвы и о самоидентификации в качестве москвичей и граждан Советского Союза.

На протяжении двух постсоветских десятилетий исследования повседневности расширяли предметную область этнологии, имеющей вкус к этой тематике в России еще с середины XIX в. Повседневная жизнь открыта и неисчерпаема. Сохраняя культурное наследие народа и, вступая в диалог с вызовами времени, она увлекает специалистов многих направлений гуманитарного знания. Значительный вклад в ее изучение внесли своими организационными усилиями и исследовательской деятельностью академик РАН, Ю. В. Бромлей, член-корреспондент РАН Р. Г. Кузеев, а также член-корреспондент АН Республики Молдова В. С. Зеленчук. Возвращаемое прошлое и конституированное будущее, – как показывает М. Н. Губогло в очерках о каждом из них, – едва ли не главные тренды, по которым двигалась исследовательская мысль крупномасштабных ученых. Оба направления отражены в их трудах, в том числе в этногенетических сочинениях и в разработке методологических основ этнографии.

Один из ближайших друзей М. Н. Губогло, рано ушедший из жизни В. Н. Шамшуров, талантливый музыкант, один из тех, кто стоял у истоков этносоциологии, участник многолетней советско-вьетнамской этносоциологической экспедиции, заместитель министра по национальной политике – стал героем одного из очерков, включенных в книгу.

В познании повседневности важно не только исследование креативной деятельности человека, но и личности ученого, поэта, художника. Каждый из героев очерков был одержим творчеством и любовью к своему делу, народу и своей земле. Все они любили часто ездить, гореть желанием желаний, уметь много хотеть и добиваться, дружить и помогать. Они могли, не теряя сегодняшней, ценить завтрашний день и прошлые времена, привыкая одновременно к ускоряющимся темпам жизни и сохраняя преданность и любовь к своему делу.

В заключительной части книги в центре внимания М. Н. Губогло – повседневная жизнь, изображаемая в современной живописи Гагаузии.

За сравнительно короткий по историческим меркам срок новоявленная живопись уверенно шагнула на сцену высокого изобразительного искусства, опираясь на ценности традиционной культуры гагаузского народа и на мощные художественные корни русского, европейских и других народов евразийского пространства.

Векторы становления и вызревания изобразительного искусства Гагаузии основаны на изображении и осмыслении повседневности. Возникновение и развитие совпали по фазе с частью этнополитической жизни гагаузского народа. Тем не менее отраженная в ней проблематика связана скорее с изображением повседневной, чем политической жизни. Основная тематика связана с бытовой экологией, с запечатленными временами года и суток, воспева-

нием красоты родного края и основ традиционной культуры. Ее историческая миссия состоит в укреплении самосознания, этнической и гражданской идентичности.

Раскрытие образов Времени через автобиографию и биографии своих коллег и друзей представляет собой новый, относительно малоизвестный в этнологии прием с целью изучения акторов этнической истории и социальной жизни. В текстах о поствоенном и постсоветском времени, а также о временах оттепели и застоя, научный анализ сочетается с художественно выраженными стилистическими кусками. Такой подход напоминает подготовку обычной научной монографии или романа в виде отдельных самостоятельных рассказов или очерков с автономными ссылками и автономным научным аппаратом. Однако, в отличие от романа, в предлагаемых текстах о времени и замечательных представителях эпохи нет места для вымысла. В них речь идет только о фактах, событиях и действиях в потоке реальной действительности.

В заключение надо отметить новаторский характер источниковой базы, на которой основана книга М. Н. Губогло. наряду с автобиографическими очерками, в ней представлены произведения художественной литературы и живописи, в том числе такой малоизвестный источник, как дарственные надписи на книгах, подаренных известному молдавскому этнографу, поэту и общественному деятелю – С. С. Курогло.

Всем известно, М. Н. Губогло – неисправимый романтик. Поэтому его воспоминания основаны на противопоставлении двух миров – возвышенного и низменного. Однако подготовленные тексты его новой книги данной антитезой не исчерпываются. Ему, познавшему путь в лихолетье депортационного режима, присуща острая социальная чувствительность, скрытая до поры до времени под жестким идеологическим прессом и деликатно проявляемая в современном деидеологизированном обществе. В годы становления этносоциологии как нового научного направления он был скорее очевидцем и регистратором процессов и событий, чем радикальным критиком и хулителем времени. Он не обижен на мир, он радуется жизни.

Введение

Нам надоело быть не нами.
Велимир Хлебников

Замысел трилогии «Смыслы повседневности», включенной в данное издание, возник из позднего вопроса о том, как соотносятся между собой концептуальные решения одного и того же по сути явления реальности. Аспекты и грани повседневной жизни можно отображать многими путями: социологическим измерением в научных исследованиях, поэтическими образами в литературе, живописными произведениями в изобразительном искусстве. Всех возможных подходов, пожалуй, и не счесть... Я ограничился трехмерным видением. В основу первой книги были положены главным образом личные воспоминания и литературные источники о поствоенной повседневности на примере сопоставления реалий домашнего очага и школьной социализации во времена на рубеже 1940–1950-х гг.

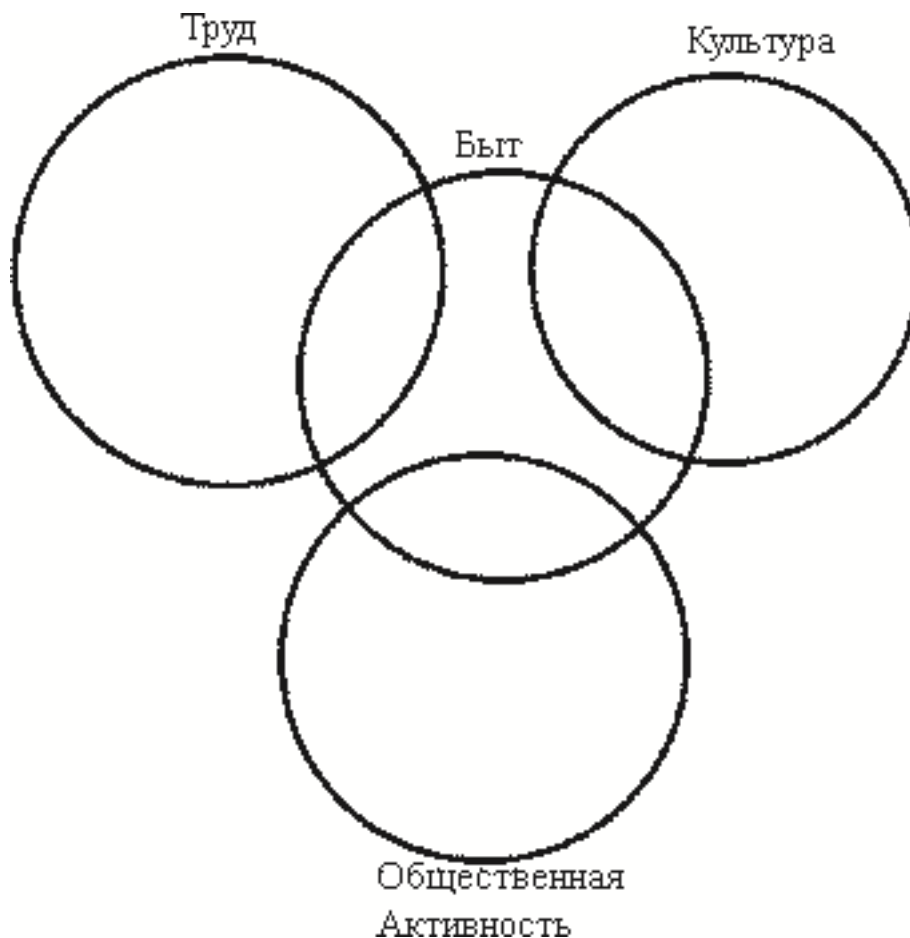
Несмотря на то что время на рубеже 1940–1950-х гг. наполнено сложными и противоречивыми социально-экономическими процессами, ход которых во многом определил последовавшую хрущевскую оттепель и брежневский застой, и далее в какой-то мере повлиял на развал Советского Союза, до сих пор остается относительно малоизученным периодом советской истории второй половины XX в. Однако «это время заслуживает своего анализа, в том числе и с точки зрения процессов в сфере общественного сознания». Выдвигая эту задачу В. А. Тишков имеет «в виду в данном случае верхушечную идеологию, которая в тоталитарном обществе того времени была важна для формирования устремлений и настроения людей, их ценностных ориентиров» [Тишков 2013: 291].

Названная тема, безусловно, может занять видное место в предметной области этнологии и антропологии повседневности, так как в послевоенном периоде, во-первых, не утихла боль от жертв, принесенных народами на алтарь победы, во-вторых, не исчезла коллективная травма, полученная некоторыми народами в результате насильственных депортаций, в-третьих, вопреки тому, что тяготы и лишения военного времени носили всеобщий характер, среди граждан страны зрела надежда на улучшение жизни, в том числе условий повседневности.

В центре внимания второй книги трилогии – отображение реалий повседневной жизни в процессе становления новой профессиональной поэзии на примере творчества гагаузских поэтов Д. Н. Кара Чобана и С. С. Курогло. Становление гагаузской поэзии знаменательно тем, что изображение повседневности в ней совпало по фазе с исключительно важным взлетом русской и литературы народов СССР в 1960–1980-е гг. на примере произведений, тематически посвященных деревенской и городской жизни и фронтовым будням. Великая русская литература второй половины XX в. вошла в золотой фонд культурного наследия Советского Союза и России и одновременно стала социокультурной основой зарождения и взросления молодой по историческим меркам гагаузской поэзии и прозы.

В третьей книге «Повседневная жизнь в зеркале живописи» раскрывалась синхронность становления профессиональной гагаузской живописи, встающей на ноги вместе с этнополитическим движением гагаузского народа к самообретению, самоопределению и самодостаточности.

Таким образом объект, предмет и проблематика исследовательского интереса в каждой из трех книг, как и в данном издании, представлена единой темой: повседневной жизнью двуязычного (гагаузско-русского) народа, исповедующего православие. В широком смысле в лоне этой темы включены два крупных, взаимосвязанных сюжета, один из которых посвящен «Грамматике жизни», выраженной в ментальности народа, в нормах и принципах традиционной культуры, в таких, например, как обряды, институт общественного мнения и пантеон культов.



Всеохватность и безбрежность темы ограничивается проблемами гостеприимства, как индикатора коллективизма и доверительности, без которых нет ни полноценного социального капитала, ни оптимального существования социума, в том числе социума в форме этнической общности в составе многоэтничного сообщества.

Все разделы книги, связанные единой предметной областью, можно читать как вместе, т. е. последовательно одну за другой, так и в автономном режиме. Более того, в сюжетах, идеях, мотивах творчества отдельных поэтов или художников нетрудно разглядеть как общие, так и индивидуальные особенности отображения практик повседневности в произведениях профессионального искусства.

В книгах почти нет этносоциологических сведений о том, как читатели и зрители воспринимают произведения своих кумиров и каковы сами кумиры в повседневной жизни. Однако, смею думать, что о самих поэтах и писателях можно судить по их произведениям. Так, например, некоторые читатели и зрители больше любили знаменитость того или другого поэта, чем самих поэтов. Один из них слыл чудаковатым, не от мира сего, другой – недостижимым из-за своей учености и многогранного таланта. Люди воспринимали их творчество, как будто читали партитуру, но не слышали музыку. Другие, наоборот, наслаждались ритмами и рифмами, не вникая в грамматику норм и правил и в глубину мыслей. И то и другое приходит со временем. Надо, чтобы это время скорее наступило.

В повседневной жизни так много труда, красоты, а порой и горечи, что разные люди по-разному видят небо и Бога, солнце и любовь. Словом, тема повседневности неисчерпаема, как неисчерпаем мир.

На одном из заседаний Ученого совета Института этнологии и антропологии РАН повис в воздухе концептуальный вопрос, заданный докладчику: «Что такое повседневная жизнь, и как она соотносится с образом жизни?»

Новая отрасль междисциплинарных исследований, шумно номинированная в истекшее десятилетие как новейшее изучение «повседневности» или «истории повседневности», на заре нового тысячелетия становится важным направлением в системе гуманитарного знания [Пушкарева 2004; 2010; Орлов 2010; Фицпатрик 2001; Лебина 1999; Моисеева 2008; Зарубина 2011; Касавин, Щавелев 2004]. Между тем оказывается, что в бесконечном потоке публикаций, посвященных повседневности, трудно найти аналитически взвешенное определение ее дефиниции, позволяющей соотнести основные сферы повседневности с проблематикой и со сферами образа жизни. Не предаваясь утомительным выборкам цитат, раскрывающих смысловое содержание каждого феномена, ограничимся рабочей схемой № 1. В ней заштрихована часть круга, означающего «быт» и «вторгающегося» в пространство трех других кругов – «труд», «культура» и «общественная активность», означает проблематику предметной области повседневности, если при этом к каждому кругу подходить как к статическому, так и динамическому явлению.

По накалу страстей, неоднозначности подходов и по нарастающей численности адептов повседневности ее проблематика не уступает еще одному новому направлению, в предметной области которого форсированно множатся публикации, посвященные обретению и развитию одних и размыванию других идентичностей. В концентрированной форме новейшие идеи и итоги исследований, в том числе выполненных этносоциологами, нашли, в частности, отражение в книге «Феномен идентичности в современном гуманитарном знании» (М., 2011), изданном к 70-летию академика В. А. Тишкова, одного из инициаторов выдвижения проблематики идентичности на передний план предметной области этнологии [Тишков 2001; 2003].

Этносоциологическое обращение к повседневной жизни индивидов путем фиксации их трудовых карьер и ценностных ориентации, а также ключевых индикаторов бытовой жизни, семейных и межличностных отношений, начатое во второй половине 1960-х гг. и успешно продолженное в 1970–1980-х гг., в известной мере корреспондировало с параллельно идущими процессами в художественной литературе в деле освоения повседневности в произведениях, типологически и тематически сходных с нашумевшими книгами «Обмен» (1969), «Предварительные итоги» (1970), «Другая жизнь» (1975) Юрия Трифонова. Вместе с тем нельзя сказать, что время послевоенной и хрущевско-брежневской «оттепели» и «застоя» изучено с исчерпывающей полнотой.

Выбор хронологических рамок исследования и воспоминаний предопределен тем, что ни в одном активно развивающемся новейшем направлении «истории повседневности» и «идентификации идентичности», ни в литературе, посвященной Великой Отечественной войне, за редким исключением [Снежкова 2011], не исследована ее роль в формировании государственно-гражданской идентичности.

С точки зрения интересующего меня постсоветского периода, для меня вдохновляюще прозвучал тезис о том, что «не менее важным для формирования советской солидарности и патриотизма были разнообразные социальные и культурные практики повседневности» [Тишков 2013: 278].

Зависимость между повседневной жизнью и патриотизмом и гражданской идентичностью проявила себя в том, что практики повседневности внесли свой вклад в достижение победы в годы Великой отечественной войны, а победа в войне в свою очередь оплодотворила постсоветскую повседневную жизнь гордостью за свою страну и за свой народ, самоощущением самодостаточности, способностью выживания и стремлением к процветанию.

Между тем в только что увидевшей свет фундаментальной монографии В. А. Тишкова в специальной главе «Отечественная война и советский патриотизм» (с. 277–299) неодно-

кратно обращается специальное внимание на необходимость изучения поствоенной повседневности, в условиях и в недрах которой формировались чувство патриотизма и гражданская идентичность как сопричастность к своей Родине.

Великая отечественная война, – утверждает В. А. Тишков, – со всей очевидностью подтвердила приверженность большинства советских людей, независимо от их этнической, конфессиональной и социальной принадлежности, ценностям духовно-нравственного свойства, центральное место среди которых занял патриотизм [Тишков 2013: 279].

В условиях острого финансового дефицита этносоциология медленно делала разворот в сторону нового прочтения старых источников и новых методов их прочтения. Еще раз можно повторить, перефразируя Люсьена Февра: «Этносоциолог не тот, кто знает, он – тот, кто ищет».

Список использованной и ассоциированной литературы (к Предисловию и Введению)

- Антропология... 2008 – Антропология академической жизни: адаптационные процессы и адаптивные стратегии / Отв. ред. Г. А. Комарова, М.: ИЭА РАН, 2008.
- Антропология... 2010 – Антропология академической жизни: междисциплинарные исследования. Т. II / Отв. ред. и сост. Г. А. Комарова, М., 2010.
- Костомаров, Забелин 2012 – *Костомаров Н. И., Забелин И. Е.* Быт и нравы русского народа в XVI и XVII столетиях. М., 2012.
- Гагаузы в мире... 2012 – Гагаузы в мире и мир гагаузов: В 2 т. Кишинев, 2012.
- Гагаузы 1993 – Гагаузы. Исследования и материалы // Российский этнограф. Вып. 17. М., 1993.
- Гирц – *Гирц К.* «Насыщенное описание»: в поисках интерпретивной теории культуры // URT: интернет-ссылка <http://hghltd.yandex.uct/yand6tm7text>
- Горизонты современного гуманитарного знания 2008 – Горизонты современного гуманитарного знания: Сб. статей к 80-летию академика Г. Г. Гамзатова. М.: Наука, 2008.
- Готлиб 2004 – *Готлиб А. С.* Автоэтнография (разговор с собой в двух регистрах) // Социология. М. 2004. № 18.
- Губогло 2008а – *Губогло М. Н.* Сам себе этнолог. Из автобиографических записей // Revista de etnologie si cultorologie. Vol. IV Chisinau, 2008.
- Губогло 2008б – *Губогло М. Н.* Спохои прошлого. Автобиографические затеей. Кишинев, 2008.
- Губогло 2012 – *Губогло М. Н.* Автобиография как этнологический источник // Общественная мысль Приднестровья. Тирасполь, 2012.
- Забелин 1862–1869 – *Забелин И. Е.* Домашний быт русского народа в XIX и XVII столетиях: В 2 т. М., 1862–1869.
- Забелин 1872 – *Забелин И. Е.* Опыты изучения русских древностей и истории: В 2 т. М., 1872–1873.
- Забелин 1895 – *Забелин И. Е.* Домашний быт русского народа в XV–XVII вв. М., 1895.
- Забелин 1915 – *Забелин И. Е.* Домашний быт русских царей в XVI–XVII ст. 2 части. 4-е изд. доп. Т. I. Ч. I. М., 1915.
- Забелин 1918 – *Забелин И. Е.* Домашний быт русских царей в XVI–XVII ст. 2 части. 4-е изд. доп. Т. I. Ч. II. М., 1918.
- Забелин 1990 – *Забелин И. Е.* Домашний быт русских царей. Кн. I. Государев двор. М., 1990; 2-е изд. М., 2008.
- Забелин 1999 – *Забелин И. Е.* Минин и Пожарский. Прямые и кривые в Смутное время. М., 1999; 2-е изд. М., 2005.
- Забелин 2001 – *Забелин И. Е.* Дневники. Записные книжки. М., 2001.
- Зарубина 1998 – *Зарубина Н. Н.* Социально-культурные основы хозяйства и предпринимательства. М., 1998.
- Зарубина 2011 – *Зарубина Н. Н.* Повседневность в контексте социокультурных трансформаций российского общества // Общественная наука и современность. М., 2011. № 4.
- Касавин, Щавелев 2004 – *Касавин И. Т., Щавелев С. П.* Анализ повседневности. М., 2004.
- Козлова 2005 – *Козлова Н. Н.* Советские люди. М., 2005.
- Лебина 1999 – *Лебина Н. Б.* Повседневная жизнь советского города. Нормы и аномалии. 1920–1930. М., 1999.
- Молдаване 2010 – Молдаване / Отв. ред. М. Н. Губогло, В. А. Дергачев. М.: Наука, 2010.

Моисеева 2008 – *Моисеева Т. Б.* Информационные технологии как средство трансформации повседневной жизни человека: философско-антропологический анализ. М., 2008.

Лакшин 1989 – *Лакшин В. Я.* Открытая дверь. Воспоминания, портреты. М., 1989.

Любимова 2012 – *Любимова Г. В.* Сибирская природа в зеркале крестьянской мемуаристики (особенности экологического сознания сельского населения Сибири) // Гуманитарные науки в Сибири. 2012. № 2.

Нарский 2012 – *Нарский И. В.* Антропологизация авторства (Приглашение к «лирической историографии») // НЛО 2012. 115. № 3.

Нарский – *Нарский И. В.* Антропология авторства // URL: интернет-ссылка <http://www.nlobooks.ru/node/2254>

Нарский 2011 – *Нарский И. В.* Возвращение автора: приглашение к лирической историографии», или Об одной тенденции в современном историописании // История и историки в пространстве национальной и мировой культуры XVIII–XXI веков: Сб. статей. Челябинск, 2011.

Орлов 2010 – *Орлов Б.* Библиография 1958–2010. 2-е изд. М., 2010.

Поляков 2011 – *Поляков Ю.* Минувшее: фрагменты: воспоминания историков. 2-е изд. М., 2011.

Портреты историков 2000–2010 – Портреты историков. Время и судьбы. Т. 1. Отечественная история. Т. 2. Всеобщая история. М.; Иерусалим, 2000; Т. 4. Новая и новейшая история. М., 2004; Т. 5. Средние века. Новая и новейшая история. М., 2010.

Пушкарева 2004 – *Пушкарева Н. Л.* «История повседневности» и «история частной жизни»: содержание и соотношение понятий // Социальная история. Ежегодник. 2004.

Пушкарева 2010 – *Пушкарева Н. Л.* Женская и тендерная история: итоги и перспективы развития в России // Историческая психология и социология истории. Т. 3. 2010. № 2.

Снежкова 2011 – *Снежкова И. А.* Конфессиональная ситуация на Украине: история и современность. М., 2011.

Тишков 2001 – *Тишков В. А.* Этнология и политика. Научная публицистика. М., 2001.

Тишков 2003 – *Тишков В. А.* Реквием по этносу. Исследования по социальной и культурной антропологии. М., 2003.

Тишков 2013 – *Тишков В. А.* Российский народ: история и смысл национального самосознания. М., 2013.

Токарев 1966 – *Токарев С. А.* История русской этнографии. Дюктябрьский период. М., 1966.

Фицпатрик 2001 – *Фицпатрик Ш.* Сталинские крестьяне. Социальная история советской России в 30-е годы: деревня. М., 2001.

Чудаков 2013 – *Чудаков А. П.* Ложится мгла на старые ступени. Роман-идиллия. М., 2013.

Щепанская 2003а – *Щепанская Т. Б.* Полевик: фигура и деятельность этнографа в экспедиционном фольклоре. (Опыты автоэтнографии) // Журнал социологии и социальной антропологии. 2003. Т. IV. № 2.

Щепанская 2003б – *Щепанская Т. Б.* Антропология профессий // Журнал социологии и социальной антропологии. 2003. Т. IV. № 1.

Щепанская 2005 – *Щепанская Т. Б.* Заметки об автоэтнографии // Антропологический форум. 2005.

Coffey 1999 – *Coffey A.* The Ethnographic Self. London: Sage, 1999.

Часть I

Антропология поствоенной повседневности

Раздел I

Повседневная жизнь и идентичность в системе этнологического знания

1. Социальные функции повседневности в поствоенном периоде

Становление гражданской идентичности, как осознаваемой принадлежности к данному государству и отечеству обеспечивающему права и свободы и ожидающему от граждан исполнения долга и обязанностей, с малых лет происходит под целенаправленным и/или стихийным воздействием ряда объективных и субъективных факторов. Особую роль играют атмосфера семейных отношений, система школьного воспитания и чтение художественной и исторической литературы, а также воздействие средств массовой информации, театра, интенсивности и качества коммуникативных межличностных связей. Немаловажное значение при этом имеет среда обитания, круг друзей и коллег, наконец, социально-экономическое и этнополитическое состояние общества.

Немаловажную роль в развитии и укреплении гражданской идентичности играют исповедуемые обществом нормы и ценности, характеризующие состояние культуры и социологии повседневной жизни. Перечисленные и многие неупомянутые здесь факторы и аспекты исследуются скорее порознь, чем комплексно в некоем единстве. Между тем «Великий завет бытия» (К. Бальмонт), т. е. повседневная основа гражданского самоощущения и сопричастности, «обслуживает» относительно безболезненный способ приспособления к трансформациям, особенно в переломные периоды истории. Такие периоды наступают после войн, социальных катастроф, революций и других экстремальных событий и акций, которые затрагивают важные циклы человека, формируют интересы и стимулы поведения людей.

Исходной предпосылкой воспоминаний и рассуждений служит понимание социальных функций и функциональной значимости повседневной жизни в деле воспитания гражданской идентичности и патриотизма. Выведение ее программатики и тематики за пределы предметной области этнологии и этносоциологии означало бы пренебрежение ролью повседневной жизни в конструировании гражданской идентичности и в накоплении социального капитала (Френсис Фукуяма), без которого плохо или очень плохо действуют стабильные формы и нормы жизнедеятельности и соционормативные основы бытия и витальности общества.

Обосновывая социальную востребованность и право «истории повседневности», представляя новую междисциплинарную отрасль знания, ее сторонники и сторонницы сопровождают эту цель стремлением дистанцироваться от широко распространенных в 1970–1980-е гг. в социологии и этносоциологии массовых опросов и количественных методов обработки крупных массивов информации. Справедливо ли это? В исследовательских стратегиях повседневности, как новой отрасли знания, предпочтение отдается индивидуальным рассказам, биографиям и автобиографиям. Безусловно, каждый индивид, как уникум, представляет интерес для этнологии. Однако провозглашаемая и манифестируемая новизна и оригинальность «истории повседневности» не вполне соответствует историографическому дискурсу и реаль-

ному состоянию дел в изучении этой самой повседневности. Обратимся, в частности, к опыту этносоциологов, деятельность которых в лоне отечественной этнологии продолжается почти полвека. Информационная база этносоциологических исследований создавалась и издавалась вкуче с многочисленными статистическими и нарративными источниками. Информация накапливалась не обычными анкетами, а специально разработанными «Опросными листами», представляющими принципиальную часть методико-инструментального аппарата этносоциологического обследования. Они составлялись таким образом, чтобы, заполняя их (с помощью подготовленного интервьюера), респондент (опрашиваемый) мог бы последовательно, шаг за шагом, рассказывать свою семейную, социальную, культурную и психологическую биографию.

В поле зрения этносоциологов находились представители социально-профессиональных групп, представляющие тот или иной народ, являющийся, как в пушкинской драме «Борис Годунов», носителем и выразителем повседневности. При таком подходе событийная сторона социальной истории виделась глазами отдельных личностей, анонимных, без фиксированных инициалов, но с конкретными анкетными данными, в том числе с этническими, тендерными, региональными идентичностями и исповедуемыми ценностями. На карту их жизнедеятельности заносятся не помпезные и широкомасштабные события и образы происходящего, не навязываемый им идеологический «букет», а прежде всего проблемы собственного участия в повседневной жизни и отношения к ней.

«Опросный лист», – как характеризовал его руководитель авторского коллектива первого крупномасштабного этносоциологического проекта, родоначальник советской этносоциологии, как нового междисциплинарного направления Ю. В. Арутюнян [Междисциплинарные исследования... 2005: 3–25], построен таким образом, что отвечающий как бы рассказывает о своей жизни» [Арутюнян 1972: 11].

Такое «биографическое» построение «Опросного листа» не только делало интервью «естественным и легким», но оказалось предтечей методико-инструментального оснащения для последующих исследований образа жизни, истории и культуры повседневности в формате нарративов в жанре грядущего постмодерна.

Десятки тысяч индивидуальных социальных биографий позволяли в конечном счете составлять представительные портреты советского тракториста или агронома, рабочего или инженера, учителя или врача, руководителя среднего или высшего звена, работающих в повседневной сельской или городской производственной сфере. Результаты обработки «Опросных листов» служили информационной базой для немаловажных открытий в системе гуманитарного знания, что весомо расширило представления не только о ткани и трендах повседневности, но и ее творцах, носителях и участниках.

Массовые этносоциологические источники позволили успешно реализовать замыслы по характеристике людских судеб, домашних очагов и жизненных путей-дорог, события и факты истории малой родины и большой истории, сохранение и изменение исповедуемых ценностных ориентации и культурных запросов, а также векторов межличностных взаимодействий в производственной, досуговой и домашней сферах повседневного бытия [Социально-культурный облик... 1986; Русские... 1992; Губогло 2003; Губогло, Смирнова 2006].

Отсутствие инициалов анкетных данных респондентов в «Опросных листах» или же занесение их в бланк по добровольному волеизъявлению опрашиваемых не мешало, во-первых, выделять при анализе измеряемые параметры и показатели этнических, тендерных, религиозных, имущественных и других идентичностей, во-вторых, позволяло выявлять проявление индивидуальных особенностей в системе обыденной жизни у представителей различных этнических и социально-профессиональных групп, в-третьих, вглядываться в повседневность, как в выразительный предметно-содержательный, развивающийся антипод событийного и публичного, продиктованного официозом и его идеологической доктриной.

Трудно переоценить заслуги этносопологии, ранее других отраслей гуманитарного знания зафиксировавшей в относительно тихое «застойное» время подземные толчки в сфере межэтнических отношений, проявляющихся, в частности, в виде так называемых «сельского» и «интеллигентского» национализма [Арутюнян 1969].

Желание и готовность представить модных сегодня «историков повседневности» первооткрывателями и пионерами свежей проблематики и новейшей тематики исследований приводит порой к не вполне корректным оценкам трудов предшественников, к забвению или нежеланию упоминать опыт предшественников, даже вопреки тому, что их труды стали классикой и получили высокую оценку научного сообщества.

...Нужно отдать должное родоначальникам этого направления (К). В. Арутюнян, М. Н. Губогло, Л. М. Дробижева), – резюмировал итоги становления этносопологии В. А. Тишков, – которые утвердили это направление в такой степени, что оно стало почти отдельной дисциплиной на стыке двух наук – этнологии и социологии [Тишков 2011: 91].

В одной из влиятельных публикаций, в которой анализируются сходства и различия в этнографическом изучении быта и в изучении «истории повседневности», можно прочесть о становлении самостоятельного научного направления в рамках «новой социальной истории». Приведем сначала одно из высказываний, имеющее с историографической точки зрения важное значение, а затем обратимся в качестве примера к некоторым книгам с более чем сорокалетней историей.

...Именно историки повседневности, – утверждает в статье, – сделали изучение каждодневных обстоятельств работы, мотивации труда, отношений работников между собой и их взаимодействий (в том числе и конфликтных) с представителями администрации и предпринимателями темой «новой рабочей истории» и новой истории труда, ставших впоследствии самостоятельными «историями» [Пушкарева 2005: 32].

Классик советской социологии – сценарист, режиссер и «постановщик» одного из первых социологических исследований повседневности в производственной сфере В. А. Ядов в инициированном им проекте «Человек и его работа» ориентировал коллектив авторов на изучение мотивации и отношения к трудовой деятельности как результатов взаимодействия социальных факторов. В ходе реализации проекта были выявлены и изучены объективные и субъективные показатели, раскрывающие отношение конкретных людей к труду, раскрыты факторы, обуславливающие уровень удовлетворенности и неудовлетворенности работой, охарактеризована обусловленность мотивов трудовой деятельности и их связь с характером и содержанием труда [Человек и его работа 1967].

Листая страницы этого сочинения, на котором учились несколько поколений советских социологов, нетрудно заметить, что проведенным исследованием в середине 1960-х гг. была охвачена значительная часть проблематики повседневности, которая сегодня не вспоминается, но выдается за модное новое направление, как «история повседневности» или как часть модной, пришедшей с Запада социальной истории.

Еще одним незаслуженно выведенным за скобки предметной области современной «истории повседневности» может служить знаменитое исследование социальных проблем быта и вне рабочего времени, в том числе с анализом на достаточном по количеству и надежном по качеству материале проблем повседневного поведения, образе жизни, времени, как средстве описания повседневного поведения, особенностей быта и бытовой жизни на этапах жизненного цикла человека, изменений параметров и показателей повседневной жизни под влиянием материальных условий и образовательного фактора [Гордон, Клопов 1972].

Нецивилизованное культивирование повседневной жизни ведет к деградации ментальности, порождает аномальные образцы поведения. Так, например, в постсоветский период пренебрежение к традициям и соционормативным основам жизни в одних случаях вело к аномальностям, проявляющимся в дебилизации, быдлизации и пауперизации, к расширению

масштабов социального дна, в других случаях – в куршевилизации образа жизни узенькой прослойки так называемых новых русских [Свобода... 2007: 247; Зарубина 2011: 58].

Переломные периоды в истории многовековой царской и двухсотлетней императорской России, Советского Союза не единожды повышали планку гражданского самоощущения. Так, в частности, складывалась жизнь, что едва ли в начале каждого столетия народам России приходилось воевать, а потом залечивать раны и вместе с горечью потерь наполнять душу чувством собственного достоинства. Таковы были десятилетия после смуты в начале XVII в., реформы Петра после его побед над шведами. Так было в первые два десятилетия после победы над Наполеоном в начале XIX в. и над Гитлером в середине XX в.

Запоздалое, через века, признание общественной значимости преодоления «смутного времени» России в связи с изгнанием предками польских интервентов в 1612 г. и объявление 4 ноября Праздником Единства могут служить запоздалым пониманием важной роли освобождения для формирования гражданской идентичности потомков.

Победы или поражения России на полях сражений на протяжении последних четырех веков оказывали противоречивое влияние на повседневную жизнь, катализируя повышение, реже – понижение «градуса» гражданского самосознания и патриотического самоощущения. Так, например, после завершения трагической Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. советские люди столкнулись с хозяйственной разрухой, бедностью и оскудением повседневной жизни. Однако время залечивало раны и горечь потерь. Вместе с тем, улучшение условий жизни способствовало совершенствованию системы жизнеобеспечения и привнесению элементов комфортабельности в быт.

Важную роль в гуманитаризации культуры повседневности и в повышении градуса гражданского самосознания в первые поствоенные и далее в годы Хрущевской «оттепели» играли три мощных потока художественной литературы: «деревенская» (Ф. Абрамов, В. Астафьев, В. Белов, В. Распутин, В. Шукшин), «городская» (А. Битов, Ю. Трифонов) и «военная» (В. Астафьев, Г. Бакланов, В. Быков, Ю. Бондарев, К. Воробьев, Б. Васильев и др.) проза.

В каждом потоке повседневность реалистично изображалась как тяжелая работа, в том числе на войне, как работа, требующая в жертву тысячи человеческих жизней. На этих трех литературных течениях, исследующих уроки повседневной жизни в разных ее ипостасях и проявлениях, воспитывалось первое поколение послевоенных правозащитников.

Надо отдать должное литераторам и литературе в формировании национального достоинства и самоуважения советских людей. Они являли собой одновременно и причину и результаты подъема национального духа.

Мне, ребенку депортированных родителей, на рубеже 1940–1950-х гг. довелось быть свидетелем витальности повседневной жизни сельских жителей Зауралья в деревнях, оставшихся без взрослых мужчин, и наблюдать медленное нарастание материальных и более ускоренное приумножение параметров духовных аспектов повседневной жизни сибирского села.

После черных лепешек из прошлогодней мерзлой картошки, приготовленных вперемешку с порыжевшими отрубями, первые буханки белого хлеба из натуральной пшеничной муки казались олицетворением изобилия и грядущего материального благополучия. Каждое лето накануне учебного года очаровывали новенькие учебники, упоительно пахнувшие свежей типографской краской.

Вполне осязаемые и заметные показатели улучшения повседневности прочно отложились в памяти и сподвигли задуматься о том, какое влияние оказывали блистательные победы и горькие поражения на состояние духа и духовности народов, и как они отражались на состоянии гражданского самосознания и на появление ростков оптимизма.

Встал профессиональный вопрос, как соотносятся в историческом (этнологическом) процессе событийный исторический опыт и этнопсихологический опыт самосознания. Мои воспоминания о постсоветском времени второй половины XX в. не претендуют на уровень

выявления смысла исторического или историографического процесса. Хотя вслед за Л. П. Карсавиным думается, что... Не из будущего исходит историк и не из прошлого, но из настоящего и прежде всего из самого себя. Он ориентирует познаваемое им историческое бытие и развитие к тому, что наиболее полно и ярко выражено в его эпохе и культуре [Карсавин 1922: 254].

Таким образом, возникла двуединая задача. С одной стороны, попытка представить свои воспоминания в качестве субъективного взгляда и как источник для антропологического анализа повседневности, а с другой – уловить некоторые тенденции в развитии общественного сознания, обреченного на взлет активности или на социальную апатию и психологическую пассивность в противоречивый период поствоенной истории Советского Союза.

Биографически сконструированные «Опросные листы», ставшие базовым источником этносоциологических исследований, навели на мысль об автобиографии, как этносоциологическом источнике, о чем подробнее будет сказано ниже.

2. Повседневная жизнь в зеркале автобиографии

*Рукой слезу останови,
Не бойся горестного знанья.
Проходит время для любви,
Приходит для воспоминанья.*

Инна Лиснянская

В относительно юной, по историческим меркам, этносоциологии, которая моложе своих родителей – этнографии и социологии, ориентированных больше на изучение групповых, чем личностных явлений, биографический, а тем более автобиографический метод редко привлекался для осмысления взаимосвязей этнических и внеэтнических явлений и процессов. Между тем перспективы активизации и широкого внедрения в научный оборот этого специфического источника представляются заманчивыми и привлекательными. В основе актуализации интереса к личности и ее индивидуального жизненного пути лежат те трансформационные процессы и связанные с ними изменения, которые сегодня, в ходе перемен, смещают акцент от коллективизма и массовости к индивидуальности и личности.

Раскрепощение духа бывших советских людей, признание и защита прав и свобод постсоветского человека, порождает интерес не только к ключевым моментам в его жизненной судьбе, но и попыткам самоосмысления, в том числе выраженных путем описания своей судьбы в связи с судьбой своей молодой родины.

Известный скепсис одного из создателей советской этнографической школы С. А. Токарева к воспоминаниям и мемуарной литературе, понятно, был предопределен господством той идеологической атмосферы, когда корпоративные интересы коллектива, общества и государства ставились выше интересов индивида. «Мемуары и разные биографические и автобиографические произведения, – помнится, учил студентов кафедры этнографии исторического факультета МГУ в 60-е годы прошлого века С. А. Токарев, – интересуют историографа этнографии лишь в одном случае, когда они относятся к лицам, оставившим свой след в развитии этнографической науки, и дают о них биографические сведения» [Токарев 1966: 8].

Речь, как видно, идет, во-первых, только об историографической стороне дела, когда не исключается обращение к автобиографии как к историческому источнику, в том числе и в исследовании этнологической проблематики. Во-вторых, не отрицается тот факт, что во многих мемуарах – и в «Житии» Протопопа Аввакума, и в «Записке» Андрея Болотова, и у различных новейших мемуаристов – как объяснял свою позицию С. А. Токарев, – можно найти немало ценных для этнографа бытовых черточек», хотя это «черточки» по мысли

автора учебника по историографии этнографии, «как правило, характеризуют лишь собственную среду мемуариста» [Токарев 1966: 8].

Современные этнокультурная и этнопсихологическая ситуации в регионах России и в странах ближнего зарубежья, во многом определяемые этнополитической атмосферой, в наше время, т. е. на заре нового века, характеризуются нарастающим интересом к проявлению различных форм идентичности: от тендерной до гражданской, от этнической до имущественной и от религиозной до региональной. Ответом на этот интерес выступают интеллектуальные усилия в виде расширяющихся рефлексий по поводу связей человека с культурно-историческим пространством и национальным достоянием своего и других народов. Вслед за первой волной смещений этнического из сферы материальной в духовную и далее в политику и обратно из политики в сферу психологии [Губогло 2007: 275–283] происходит вторая волна смещения из, по крайней мере, внешне монолитного советского общества и его продукта – коллективистски настроенного советского человека в сторону повседневного существования простого индивида с изображением ключевых узлов и перекрестков его жизненного цикла, в том числе его маргинальности.

Соответственно, это находит выражение в расширении предметной области этнологии и ее составной части – этносоциологии.

Автобиография, как этнологический источник, проявляет свою ценность тем, что, будучи формализованной схемой жизненного пути, раскрывает внутренние переживания и противоречия индивида, как его культурно-личностной саморефлексии.

Биографические очерки, издания в честь юбилеев, мемуары, воспоминания современников о классиках науки позволяют раскрывать не только биологическую, но и творческую судьбу ученого. (См., например: [Благодарим судьбу... 1995; Гутнова 2001; Междисциплинарные исследования... 2005; Репрессированные этнографы 1999; Репрессированные этнографы 2003; Академик Ю. В. Бромлей 2003; Этносоциология и этносоциологи 2008]; Р. Г. Кузеев, В. А. Тишков, М. Н. Губогло Ю. А. Поляков, Ю. Б. Симченко.)

Современный специфический интерес к индивиду представляет, прежде всего, интерес к антропологии человека, как носителя изменяющейся культуры и как субъекта самоидентификации. Ответом выступают интимные письма, дневники (для себя), автобиографии, в которых делается попытка, известная с античности, уяснить самому себе, каким образом реагируют на вызовы внешней среды душа и поступки человека на разных этапах жизненного цикла. При этом предполагается, что, во-первых, характерные для жанра автобиографии «чейные» события и факты не менее важны для читателей и исследователей, чем «ничейные».

А, во-вторых, сдвиги в самоощущении в структурировании идентичностей происходят тогда, когда «возникают стимулирующие внешние условия» [Баткин 2000: 160–161].

Этнологический аспект автобиографического текста состоит в фиксации культурных изменений и тем самым показывает созвучие разных эпох и место человека в культуре.

И сегодня, в век освоения космоса и всемогущества Интернета, сидя перед экраном компьютера, имея возможность общаться с коллегами на любой точке земного шара, мне странно вспоминать комнату в глубинке Курганской области, в которой не было ни газа, ни электричества, ни телефона, ни телевизора. Длинными зимними вечерами можно было читать только при свете керосиновой лампы, от струйки дыма которой покрывались темным налетом обледенелые стекла двойной оконной рамы. Удивительно, как писал Вадим Шефнер, что человек, оставаясь «все тем же», за короткую жизнь успевал повидать так много, что не рассказать об этом он просто не может [Шефнер 1976: 75].

Между тем анализ текстов автобиографий, даже несмотря на их субъективность, имеет свою поучительную историю в социально-психологической литературе.

Стоит вспомнить, что еще в 40-е гг. прошлого столетия, проанализировав крупный корпус литературных источников, один из крупнейших психологов XX в., основоположник пси-

хологии личности, как особой предметной области психологии, Гордон Олпорт составил впечатляющий список мотивов, побуждающих иных людей к написанию автобиографических текстов:

- 1) самозащита или самооправдание в своих глазах или перед окружающими;
- 2) эгоистическое стремление показать себя. Классическим примером этого типа автобиографии может служить, в частности, известная «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо;
- 3) стремление привести в порядок свою жизнь путем записи событий и собственных действий; 4) поиск эстетического удовлетворения в писательской деятельности; 5) осмысление перспектив собственной жизни, отчет о пройденном пути, начало «новой жизни», рассуждение по поводу своих достоинств и возможностей; 6) разрядка внутреннего напряжения в период жизненного кризиса, иногда перед самоубийством, стремления показать свои внутренние конфликты; 7) к написанию автобиографии часто прибегают люди, находящиеся на пути возвращения в общество, например преступники, покончившие со своим прошлым; 8) люди могут писать автобиографии, считая, что их записи имеют ценность как исторический источник, психологический или социологический материал; 9) иногда люди ведут дневники или пишут мемуары, считая, что это их долг перед обществом или будущими поколениями, которым они хотят подать пример или сообщить информацию, имеющую большое моральное значение; 10) мотивом может быть стремление к бессмертию, увековечиванию собственной личности, протест против забвения.

Наряду с перечисленными десятью внутренними мотивами Олпорт называл следующие внешние: желание получить деньги за публикацию или премию за участие в конкурсе, поручение написать автобиографию, например с научными целями, для публикации, либо передачи родственникам, потомкам. В учебных целях профессор может дать такое поручение своим студентам.

Люди, попавшие в беду или страдающие психическими расстройствами могут писать автобиографии по рекомендации врачей, чтобы помочь им в диагностике и лечении, а также для разрядки внутреннего напряжения [Allport].

Моим воспоминаниям не подходит ни один из перечисленных мотивов из реестра, составленного классиком социальной психологии Гордоном Олпортом. Я беру на себя смелость обращаться в первом разделе своей книги к своей памяти с единственной целью: осмыслить величие адаптационного подвига спецпереселенцев – безвинно наказанных людей, сумевших найти в себе силы, чтобы, потеряв свой дом и поля, сады и виноградники, лошадей и овец, домашнюю птицу и домашний скarb, заново конструировать свою жизнь с нуля, приспособившись к новому укладу жизни.

Автобиографии, созданные россиянами в разные периоды истории России, как особый литературный жанр, имеют поучительную историю. Как отмечалось в литературе, первые письменные автобиографии, появившиеся в конце XVII в., отражали духовный путь личности, стремившейся к религиозному идеалу. Автобиографии XVIII в. отражали наличие эмоциональных настроений, что позволяло отражать формирование противоречивой личности. В XIX в. автобиографии представляли уже не только автопортрет самого автора, но и его попытки объяснить природу своих социально-психологических свойств и характеристик путем соотнесения себя и своих личностных качеств с мнением и состоянием других. Начавшаяся в XX в. самообнаженность и склонность к прозрачности достигла сегодня, на заре XXI в., особой выразительности.

В художественной литературе одаренные от природы люди приступают к написанию своего жизнеописания, отвечая на вызовы настоятельной потребности самовыражения. Импульсы идут от острого желания проманифестировать творческий потенциал своей идентичности, адаптироваться во внешнюю социальную среду путем фиксации декларируемого образа себя.

Я слышала, – с пронзительной откровенностью пишет в своей автобиографии Агата Кристи, – что любой человек рано или поздно приходит к этой настоящей потребности. Совершенно неожиданно такое желание овладело и мной... Мне хочется наугад запустить руку в собственное прошлое и выудить оттуда пригоршню воспоминаний. Жизнь, мне кажется, состоит из трех периодов: бурное и упоительное настоящее, минута за минутой мчащееся с роковой скоростью; будущее, смутное и неопределенное, позволяющее строить сколько угодно интересных планов, чем сумасброднее – тем лучше... и прошлое, фундамент нашей нынешней жизни, воспоминания, разбуженные невзначай каким-нибудь ароматом, очертаниями холма, старой песенкой¹.

Некоторые сюжеты моих воспоминаний были написаны и частично опубликованы, когда увидели свет воспоминания выдающегося советского и постсоветского историка, академика Ю. А. Полякова и автобиографический роман «Ложится мгла на старые ступени» крупного российского филолога А. П. Чудакова (1938–2005) [Поляков 2011; Чудаков 2013].

Несть числа новейшим автобиографическим жизнеописаниям. Трудно было бы их перечислить. Здесь не стоит задача подробных рефлексий о многих из них, которые вызывают сходные, или сложные ассоциации в связи с изображением личности самого мемуариста и его способности отображать в аналитической или художественной форме свою профессиональную карьеру, образ Советского Союза или России в разные периоды существования страны.

Книга воспоминаний Ю. А. Полякова интересна тем, что в ней отражена важная часть повседневной жизни его коллег – историков, взлеты и падения исторической части российского гуманитарного знания, в лоне которой складывалась и моя профессиональная карьера. На одном дыхании я «проглотил» воспоминания А. П. Чудакова в формате автобиографического романа «Ложится мгла на старые ступени». Прежде всего поражает найденная им метафора ностальгического изображения своего жизненного цикла классическим образом: «старые ступени».

Как будто в своих воспоминаниях автор, обладающий феноменальной памятью, спускается по старым ступеням в страшные, но по-своему счастливые годы детства и юности, создавая через события и картины собственной биографии образы довоенного и послевоенного времени, образы «подлинной России в ее тяжелейшие годы, в том числе в труднейших ситуациях, в которые попадали ее репрессированные граждане».

Однако оба российских мыслителя, и Ю. А. Поляков и А. П. Чудаков, в отличие от сумрачных гениев Запада, таких, например, как Кант, Гегель и иже с ними, обладали неистощимым чувством юмора. В аннотации к роману А. П. Чудакова указаны ее главные достоинства: «Книга гомерически смешная и невероятно грустная, жуткая и жизнеутверждающая, эпическая и лирическая» [Чудаков 2013: 4].

Со многими из героев Ю. А. Полякова я был знаком, слушал их лекции, посещал семинары, участвовал в конференциях и симпозиумах. Особая точка пересечений интересов в лекционной деятельности, связанной с обществом «Знание», в руководстве которого Ю. А. Поляков играл важную роль, а мне посчастливилось побывать во многих регионах Советского Союза с лекциями по заданию Всесоюзного общества «Знание». Подробнее речь пойдет в очерке, посвященном памяти моего друга-сокурсника по историческому факультету А. С. Рудя, а на самом деле о поколении советской молодежи, провинциалов, осваивающих ритмы жизни и образы Родины и особенности повседневной жизни, попав в столицу из городов и сел обширной, но единой страны.

Я неоднократно испытывал на себе невероятное чувство юмора, неистощимый оптимизм Ю. А. Полякова, в том числе во время совместной поездки в г. Вильнюс, когда на рубеже 1980–1990 гг. над Литвой начали сгущаться грозные тучи конфликта с Центром. Вместе

¹ <http://www.zadaniexoma/2008/xx-vek-nachinaetsya-moda-na-avtobiografii/>

с литовскими коллегами мы размышляли о текущем моменте, обсуждали проблемы национальных меньшинств в системе обновляемой национальной политики. О нашем визите благожелательно поведала местная газета на польском языке, поместив мою фотографию, видимо, в знак признательности за концептуальную поддержку правового статуса польского меньшинства в Литве.

Читатели легко поймут меня. Прочитав объяснительный запевный «фрагмент» из «воспоминаний историка» в вводной главе «О чем рассказывать», уже нельзя было ни остановиться, ни оторваться от чтения. Не откажу себе в удовольствии привести двойную цитату из Пушкина и комментарий Ю. А. Полякова.

Пушкин в дневнике записал рассказ об одном незадачливом мемуаристе. «Генерал Волховский, – сообщает Пушкин, – хотел писать свои записки (и даже начал их; некогда в бытность мою в Кишиневе, он их мне читал). Киселев сказал ему: «Помилуй! Ты о чем будешь писать?» – Что я видел? – возразил Волховский. – Да, я видел такие вещи, о которых никто и понятия не имеет. Начиная с того, что я видел голую... государыню (Екатерину II, в день ее смерти)» [Пушкин 1978, 8: 40; Поляков 2011: 5].

Мои дела с воспоминаниями – пишет далее знаменитый академик Ю. А. Поляков с непередаваемой иронией и брызжущим юмором, – обстоят значительно хуже, чем у генерала Волховского. Я не могу похвастать не только тем, что видел голую задницу скончавшейся императрицы, но даже Ельцина или Гайдара в плавках. Я не встречался лицом к лицу и не перемолвился ни единым словом ни с одним из генсеков, ни с одним президентом». Более того, продолжает свой безобидный сарказм Ю. А. Поляков, «я не встречался с вождями партии и народа, с лидерами перестройки, ни с другими гениальными поэтами-песенниками, не общался с великими мастерами кожаного мяча и несравненными звездами эстрады, то есть со всеми теми, кто оставил такие заметные вехи в нашей истории [Поляков 2011: 5–6].

Насчет оставленных или неоставленных «вех» в истории – это, конечно, зря. Вряд ли участники банкета в честь избрания В. А. Тишкова академиком РАН смогут забыть самый остроумный и искрометный тост, произнесенный Ю. А. Поляковым с неподобной интонацией эстонского акцента, не уступающей ни М. Галкину, ни другим популярным юмористам и пародистам.

Я не помню – в отличие от Ю. А. Полякова – похороны И. В. Сталина, не видел танки на Садовом кольце в июне 1953 г., когда (как) низвергали Лаврентия Берия и требовалось обезоружить охрану в его доме возле Кудринской площади [Там же: 6–7]. Но я хорошо помню Каргапольскую восьмилетнюю школу, когда мы, ученики 6-го класса, выстроенные в обширном темном коридоре, рыдали вместе с учителями в связи с кончиной «вождя народов».

Хорошо помню, что плакал вместе со всеми, поддавшись ощущению общего горя. Однако, вернувшись домой, я обнаружил, что родители и родственники, а также соседи из числа депортированных, имевшие все основания ненавидеть И. Сталина, не сильно оплакивают и совсем не страдают по поводу смерти вождя. Наоборот, обсуждают новые надежды на послабление комендантского режима, на дальнейшее улучшение жизни и даже на возможность возвращения в родные края в связи с амнистией или реабилитацией.

Только через несколько лет, став студентом МГУ, и, проживая в общежитии на Стромынке, я впервые услышал о чудовищной трагедии, случившейся в Москве в дни похорон И. Сталина и закончившейся человеческими жертвами. После разоблачения культа личности об этой трагедии открыто писали в прессе, в научной и художественной литературе. Тем не менее наиболее сильное впечатление на меня произвели воспоминания о днях похорон академика Ю. А. Полякова, который вместе со своим другом, будущим академиком Ю. А. Писаревым, был не только свидетелем и очевидцем великой давки, но даже сумел прорваться к гробу в Колонный зал.

Приведу два фрагмента – аналитический и описательно-событийный – из текста его воспоминаний. Он обратил, в частности, особое внимание на тот факт, что

...кроме неоспоримо масштабного значения физической смерти, означавший конец сталинской диктатуры, имело место еще одно обстоятельство, делающее март 1953 г. столь памятным. По его впечатлениям и размышлениям – это гибель сотен людей во время прощания с вождем в результате смертоубийственной давки, обусловленной многими причинами. Поразительное скопление народа, губительный хаос, неожиданно обнаружившаяся расхлябанность, растерянность партийно-советской машины, массовость смертей и травм – все это было производным от смерти генералиссимуса [Поляков 2011: 296].

Потрясение, вызванное психозом толпы, психозом стадности вылилось в чеканные строчки воспоминаний о том, что и как происходило в дни мартовского столпотворения.

Человек, – в анализе Ю. А. Полякова, – попавший в водоворот, беспомощен. Он может проклинать себя за неосторожность, он может кричать, рыдать, стонать, пытаться прибиться к берегу. Но каждый, находившийся рядом, также беспомощен, каждый не принадлежит себе. Каждый – частица огромного целого и, не желая быть этой частицей, подвергаясь смертельной опасности, пытается противиться, каждый подчиняется движениям целого, ибо он сам вольно или невольно неотъемлемая составная этого целого [Там же: 311].

В этом описании толпы, достойном войти в антологии и учебники по социальной психологии, я верю каждому слову Ю. А. Полякова. Позволю себе очень коротко вспомнить о том, что происходило на Манежной площади, когда по радио сообщили о полете Ю. Гагарина в космос.

В Большой исторической аудитории МГУ, что на углу улицы Герцена и Манежа, шла вялая лекция, кажется, по атеизму, когда влетела записка: «Наш человек в космосе». Весь курс в едином порыве сорвался с места и кинулся на Манежную площадь. На следующий день в центральных газетах мы прилежно выискивали среди ликующей толпы знакомые лица наших однокурсников. В яростном выражении счастья выделялся Виталий Цымбал, Толя Фомичев, Саша Рудь.

Однако, через несколько минут праздник и всеобщая эйфория едва не закончились очередной трагедией типа Ходынки или похорон «вождей народов». Численность торжествующих и выражающих радость советских граждан нарастала так быстро, что Манежная площадь, в ту пору еще не застроенная всевозможными бутиками, не вмещала вновь прибывающих. Оказавшись в плотной толпе, слившись с ней, мы, в невероятной давке, двигались сначала по направлению к гостинице «Москва», а потом качнулись вправо к Историческому музею и Красной площади. В этой безудержно несущей толпе, я оказался в такой тесноте, что не мог пошевелиться ни вправо, ни влево. Меня несло помимо моей воли и моего желания. В какой-то момент я прижал руки к бокам и понял, что ноги не достают асфальта. Толпа несла, слава Богу, мимо конной милиции, ограждающей вход в Александровский сад со стороны Исторического музея. Никто из наших однокурсников, к счастью, не попал под копыта лошадей.

С годами полет советского человека в космос, как важнейшее историческое событие в жизни страны, укрепился в сознании граждан гордостью за свою идентичность, т. е. за принадлежность к великой стране. Он до сих пор волнует граждан России и подпитывает души достоинством за принадлежность к российской нации, как прямой наследнице Советского Союза.

Я вспоминаю о рыдающей школьной линейке, о похоронах И. Сталина и полете Ю. Гагарина в одном типологическом ряду исключительно с одной целью: подчеркнуть историческое значение невероятного всплеска радости и гордости за отечественную науку и технические достижения: они до сих пор служат брэндом для осознания представителями многих народов России гордости быть ее гражданами.

Возрастающий интерес к мемуаристике и воспоминаниям подтвердил в только что опубликованной монографии «Российский народ: история и смысл национального самосознания» (М., 2013). Анализируя вопросы, имеющие фундаментальное значение для понимания истории и смыслов формирования национальной идентичности, как основы существования россиян в формате народа-нации, В. А. Тишков неоднократно «приправляет» анализ фактами, событиями, фотографиями из собственной биографии [Тишков 2013: 6, 10, 22, 33, 62, 64 и др.].

С точки зрения концепции культурного плюрализма чрезвычайно продуктивную мысль высказал Даниил Гранин.

Когда пишешь автобиографию, – писал он, акцентируя внимание на ощущении множественности своего «я» в своем жизнеописании, – пишешь на самом, деле не о себе, а о нескольких разных людях, из них есть даже чужие тебе. Меня было три, а может и больше. Довольно трудно прийти к выводу насчет себя и оценить, что это за человек жил-был на свете, такой он разный, несовместимый... я пробовал осмыслить свое новое или, вернее, иное отношение к прежним моим увлечениям... Автобиографии знакомых людей читать интересно – видишь, как автор представляет себя и свою жизнь, а ты знаешь его другим².

Кому, как не самому себе, больше всего может доверять человек не только в поисках смысла жизни, как это, например, блестяще продемонстрировал известный советский философ Б. Коваль [Коваль 2001: 474], показавший, что «жизнь богаче ее собственного смысла», но и опирающиеся на мнение своих предшественников. Поисками смысла жизни и связанной с ним идентичности были озабочены многие поколения талантливых людей до и после Омара Хайама, рубайи которого начинают и завершают данный очерк.

И я доныне не слыхал,
Увы, ни от кого,
Зачем я жил, зачем страдал
И сгину для чего.

[Омар Хайам 2008: 250]

Мемуары и воспоминания, в том числе собственные, как особый взгляд литературного творчества, требуют особого критического отношения. Для исследователя повседневности в ретроспективном плане этот вид источников представляет большой соблазн. Аккуратность их создания и тем более истолкования зависит от качества и доверия памяти, от кругозора, ответственности и ментальности мемуариста, от дистанцированности по времени, от способности адекватно видеть и оценивать свое прошлое, не всегда замечая и выделяя в нем романтическое прошлое в ущерб объективности.

Давно замечено, что в воспоминаниях представителей творческой интеллигенции и лиц из других социальных слоев содержится полезная и интересная, порой романтически окрашенная информация о деталях и красках повседневной жизни, хотя и не всегда акцентируется в них важный для этнолога этнический или религиозный аспекты обыденной жизни [Симонов 1989; Воробьев 1989; От оттепели до застоя 1990; Орлов 1992; Злобин 1993; Вишневская 1994; Пузиков 1994; Чуковский 1994; Самойлов 1995; Эренбург 1996–2000: т. 6, 7, 8; Трояновский 1997; Евтушенко 1998].

Еще беднее сведения о бытовой и повседневной жизни на страницах мемуаров, составляющих значительный удельный вес в общем потоке мемуаристики и воспоминаний, написанных политиками и общественными деятелями, бывшими активными участниками политической жизни страны и ее регионов накануне и после Хрущевской оттепели [Хрущев 1999; Микоян

² <http://www.zadanie.com/2008/xx-vek-nachinaetsya-moda-na-avtobiografii/>

1999; Каганович 1996; Мухитдинов 1995; Шепилов 1998; Байбаков 1998; Громыко 1990; Гришин 1996; Шелест 1995].

В воспоминаниях политических, партийных, государственных и хозяйственных деятелей первостепенное внимание уделяется, во-первых, их конкретной деятельности, нередко попыткам оправдать свои решения, действия, составленные документы, во-вторых, их мемуары, как правило, основаны на документах, собранных их бывшими помощниками, в-третьих, на текстах воспоминаний лежит печать предвзятости и субъективности.

Для большинства ученых, вовлеченных волной общественного интереса в осмысление идентичности постсоветского периода, специфическая проблематика гражданской идентичности, ставшая одной из востребованных тем современного гуманитарного знания, продолжает оставаться недостаточно исследованной. Особую актуальность ей придает ее «привязанность» к крупным трансформационным процессам, происходящим на протяжении двух десятилетий на рубеже XX и XXI вв. в контексте курса, избранного Россией в демократию, рыночную экономику, конституционному закреплению прав, свобод и обязанностей граждан России.

Социальные травмы, пережитые бывшими советскими гражданами после распада СССР, актуализируют вопросы о том, какие пружины обыденной жизни оказывали влияние в недалеком прошлом и продолжают действовать сегодня, вызывая рост гражданского самосознания и социальной активности, или, как социально зреющая гражданская идентичность служит обеспечению исчислимых параметров повседневной жизни. Для анализа повседневности поствоенного времени, выберем две хронологические точки отсчета времени, после победоносной войны императорской России в 1812 г. и после победы, одержанной Советским Союзом в войне с гитлеровской Германией в 1941–1945 гг.

3. От александровской «весны» к хрущевской «оттепели»

12 марта 1802 г. на Российский престол вступил внук Екатерины Великой, будущий реформатор – Александр I, которого В. О. Ключевский называл «романтически-мечтательным и байронически-разочарованным Гамлетом». В 1814 г. русские солдаты вместе с союзными войсками вступили в Париж, разгромив перед этим французскую армию и изгнав ее из России. 14 декабря 1825 г. младший брат Александра Николай I подавил на Сенатской площади восстание декабристов.

30 апреля 1945 г. Советские войска штурмом овладели Рейхстагом и водрузили на нем Знамя Победы. 8 мая в пригороде Берлина представители германского верховного командования подписали акт о безоговорочной капитуляции Германии. Указом Президиума Верховного Совета СССР день 9 мая был объявлен днем всенародного торжества – Праздником Победы.

5 марта 1953 г. ушел из жизни И. В. Сталин. 20-й съезд осудил культ личности, а 30 июня 1956 г. ЦК КПСС принял постановление «О преодолении культа личности и его последствий». 25 февраля 1956 г. на закрытом заседании XX съезда КПСС Н. С. Хрущев выступил с докладом «О культе личности и его последствиях», который потом был оглашен перед 7 миллионами коммунистов и 18 миллионами комсомольцев. Сталинская «зима» сменилась короткой хрущевской «оттепелью» [Оттепель 1989; Лакшин 1991; Аксютин 2004]. Вместе с отставкой Н. С. Хрущева в 1964 г. закончился период «оттепели» и наступила пора брежневского застоя.

Типологическое сходство двух последующих судьбоносных периодов российской истории, связанных с царствованием Николая I (1825–1855 гг.) с правлением Л. И. Брежнева (1964–1982 гг.) состоит в том, что они выявили неспособность государства и общества к осуществлению конструктивных перемен. Ориентация на застывшую силу николаевского режима, по мысли А. С. Ахиезера «стала отправной точкой движения России в пропасть» [Ахиезер 1997: 624]. Отсутствие концептуальных идей в период брежневского застоя и последующей

горбачевской перестройки привели к катастрофе государственности и распаду Советского Союза.

В предлагаемой книге затрагивается одна из самых сложных и одновременно интересных тем – как народы Советского Союза вставали с колен, преодолевая разруху в первые послевоенные годы, накануне смерти И. В. Сталина и в первые годы хрущевской оттепели. Анализируя процессы формирования патриотических, нравственных и эстетических черт и чувств на примерах сельских школьников Каргапольского района Курганской области конца 1940-х – начала 1950-х гг., я пытаюсь определить признаки и призраки восстановления некоторых исторических традиций из богатейшего арсенала классической русской культуры первой четверти XIX в., путем сравнения двух эпох, подкрепляя свои выводы личными воспоминаниями, мемуарами своих школьных учителей и сверстников, сведениями из публикаций современных специалистов по мемуаристике и знатоков истории тех времен [Подольская 1989; Аксютин 2004: 12–13].

От обозрения имеющейся литературы, посвященной «оттепели», остается досадное впечатление о якобы резкой грани между предшествовавшим сталинским мраком и наступившим немедленно, после смерти «вождя народов», весенним просветлением. никоим образом не выступая адвокатом тоталитарного режима и не пытаясь обелить тяжелейшие послевоенные годы, я все же хочу думать, что победа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. вдохнула жизнь в духовную культуру советских народов, что нашло наиболее заметное выражение в ментальности и в настроениях первого, вступившего в жизнь послевоенного поколения.

При обращении к своей памяти, меня, как и других мемуаристов, вдохновляет надежда, что факты, почерпнутые из «реки по имени факт», могут быть важнее, чем художественные дарования автора. Предаваясь воспоминаниям и предлагая их в виде очерков-«затесей», я сознательно не заикливаюсь на самоанализе и «биографии своей души», а пытаюсь воспроизводить имена, события, факты повседневной жизни, принципы и институты соционормативной культуры, психологические и нравственные унаследования изменяющегося времени и самого себя. Одна из моих задач, – показать, что в мои школьные годы, на рубеже 1940–1950-х гг., хотя страна была закрытой, люди – были открытыми. «Очень наивно пытаться понять людей, – писал, отвечая на вопрос ребенка «зачем нужна история», выдающийся французский историк Марк Блок, – не зная, как они себя чувствовали» [Блок М. 1973: 128].

Можно согласиться с категоричным суждением крупнейшего специалиста по истории средних веков в том, что, действительно, трудно понять душу чужого человека. Ситуация существенно облегчается, когда исследователь, обращаясь к своей памяти, и к своим, испытанным в полувековом прошлом чувствам, сравнивает их с представлениями своих сверстников и современников.

Немаловажную роль в приближении «оттепели» сыграло обращение школьной системы в своей воспитательной работе к культурному достоянию и к славной истории страны, победившей фашизм. Вместе с пробуждающейся жаждой знаний у поствоенной молодежи идеологическая пропаганда и воспитательная работа стали питательной средой для манифестации своего достоинства и формирования гражданской гордости за свою могущественную страну и ее всемирно признанную победу и культуру. Мне кажется, что одним из первых заметил предтечу «оттепели» как процесс наполнения духовных сил, известный писатель и журналист И. Г. Эренбург в повести «Оттепель», опубликованной в журнале «Знамя». Его крылатые слова, прозвучавшие в этой повести, вызвали большой общественный переполох. Вот эти символические слова: «А высокое солнце весны пригревает и Володю и Танечку, и влюбленных на мокрой скамеечке, и черную лужайку, и весь иззябший за зиму мир» ([Эренбург 1954]; цит по: [Аксютин 2004: 85]).

Победоносное завершение Отечественной войны 1812 г. и Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. вызвало небывалый подъем патриотических чувств и нравственных иска-

ний в двух послевоенных эпохах, разделенных полуторавековым временем – первой четверти XIX в. и в 1940–1950-е гг. XX века. В первом случае созрели объективные условия для постановки вопроса об отмене позорного крепостного права, во втором – для преодоления тоталитарного наследия, сталинизма и движения за права и свободы человека.

Напомню известные со школьной скамьи ленинские слова о том, как в поствоенный период в начале XIX в. возникло движение против нравственного угнетения интеллектуалов и за духовный подъем и за освобождение народа от крепостнической зависимости.

Мы видим ясно три поколения, – писал В. И. Ленин в связи со столетием рождения А. И. Герцена, – три класса, действовавшие в русской революции. Сначала дворяне и помещики, декабристы и Герцен... Их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию. Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной воли» [Ленин. ПСС. 1976, 21: 261].

В отечественной мемуаристике содержится огромное количество воспоминаний о том, как в первом десятилетии после Отечественной войны 1812 г. в определенных кругах русского общества возникли симпатии к вестернизации и установилась свежесть чувств и мыслей и атмосфера социального обновления.

Я слышал, – вспоминал Н. И. Тургенев, хотя и не участвовавший в восстании на Сенатской площади, но очень много сделавший для отмены крепостного права в России, в том числе своей знаменитой книгой «Россия и русские», – как люди, возвращавшиеся в С.-Петербург после нескольких лет отсутствия, выражали свое изумление при виде перемены, произошедшей во всем укладе жизни, в речах и даже поступках молодежи этой столицы: она как будто пробудилась к новой жизни, вдохновляясь всем, что было самого благородного и чистого в нравственной и политической атмосфере. Особенно гвардейские офицеры обращали на себя внимание свободой своих суждений и смелостью, с которой они высказывали их, весьма мало заботясь о том, говорили ли они в публичном месте, или в частной гостиной, слушали ли их сторонники, или противники их воззрений [Тургенев 1989: 273].

Духовным подъемом постнаполеоновского периода были вызваны гениальные произведения родоначальников русской профессиональной художественной литературы А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. С. Грибоедова, и других, менее именитых, но не менее патриотично настроенных писателей и поэтов, явно или тайно симпатизирующих декабристам и их доктринальным принципам и идеям во имя свободы, гражданского достоинства и любви к Отечеству. А. С. Пушкин не читал ни дневников Н. И. Тургенева, ни его книги «Россия и русские», написанной в духе философских писем Чаадаева и увидевшей свет через десять лет после гибели поэта, но в бессмертном романе в стихах «Евгений Онегин», прозорливо предугадал социальную миссию Н. И. Тургенева в деле отмены крепостного права:

Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И, плети рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

[Пушкин 1954,3: 163].

В 10-й главе, изданной сначала отдельно от канонического текста великого романа в стихах, выражалось немало патриотических чувств и критики в адрес существующего режима.

Заметные сдвиги в культуре повседневности и в общественном сознании советских людей происходили в годы Великой Отечественной войны. Отображение тяжестей военного

и тылового быта в литературе того времени происходило как за счет героизации и поэтизации повседневности, так и за счет реалистичного изображения ужасов и трагедий военного времени (А. Твардовский, К. Симонов, А. Сурков, В. Гроссман, М. Шолохов, И. Эренбург, Э. Казакевич, В. Некрасов и другие).

Победа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. пробуждала патриотизм, сильные гражданские чувства, требующие выхода в той или иной форме, в зависимости от таланта, возраста, окружающей среды и личного темперамента. Но полем для выхода для молодой энергии и полем приложения сил не могла быть сфера экономической, политической и общественной жизни, выход нашелся в обращении к духовной сфере и в стремлении погружаться в богатства и ценности культуры. Подобно иссохшемуся полю, страдающему от отсутствия влаги, так и молодые души, пострадавшие в военное лихолетье от голода и холода, от сиротства и беззакония, устремились к налаживанию жизни в духовной сфере, компенсируя бедность и материальные лишения обращением к литературе, живописи, кино и устному народному поэтическому творчеству.

Сходные по масштабам катаклизма события двух эпох, разделенных полуторавековым периодом российской истории, позволяют мне, свидетелю второй из них, с известными ограничениями говорить от имени всей молодежи 1940–1950-х гг., экстраполируя частную биографию сына депортированных родителей на общую судьбу своего поколения.

Наглядным показателем потепления политического и психологического климата стали книгомания, киномания и интерес к искусству, выплеснувшийся в широком распространении возрожденной традиции «уездных барышень альбомов» среди детей и подростков.

Типологическое сходство устремлений избавить российское общество от Павловского периода в начале XIX в. сопровождалось среди молодежи пронзительным желанием приобщаться к культурным ценностям.

Подобно тому, как мрак непредсказуемости сына Екатерины II императора Павла сменился правлением ее внука Александра I и в России наступили времена общественно-политического потепления, сходным образом после смерти И. В. Сталина, народ, хотя и продолжал пребывать в тревожном состоянии, но все же почувствовал облегчение и первые признаки перехода от тирании к свободе. Анализируя инициативную роль воспитательной работы учителей Каргапольской средней школы, роль литературы и кино вместе с нахлынувшими «альбомными» страстями, я не акцентирую внимание на роли средств массовой информации, в том числе радиопередач, в воспитании чувств патриотизма, гражданственности и достоинства у молодежи тех лет. В центре села, где я жил в мои школьные годы, между двумя магазинами – продовольственным и промтоварным, – на высоком телеграфном столбе висел репродуктор – «черная шляпа», постоянно вещающая днем и даже ночью, когда случалось, что сторож пребывал в нетрезвом состоянии.

Радиопередачи была настолько неотъемлемой составной частью сельского быта, что сельские жители, особенно дети и подростки, перестали обращать на них внимание. В первые послевоенные годы, когда прекратились передачи «сводки с фронта», убавился интерес к политической и идеологической трескотне, лишь изумительные песни довоенного и военного времени слушались по радио с большим воодушевлением. Мало кто из людей нынешнего пенсионного возраста на рубеже веков не знает ставшие всенародными песни М. Исаковского: «Катюша», о войне: «Прощание» («Дан приказ ему на Запад, Ей – в другую сторону...»), «До свиданья, города и хаты», «Катюша», «Ой туманы мои, растуманы», «Огонек» («На позицию девушка провожала бойца...»), «В лесу прифронтовом», о родине, дружбе и любви: «Каким ты был», «Лучше нету того цвету», «Услышь меня хорошая», «Одинокая гармонь», «И кто его знает», «Ой, цветет калина».

Вдохновляющая и мобилизующая энергия песни М. Исаковского «Летят перелетные птицы», неоднократно, по словам Н. В. Корниенко, упоминались в отечественной литературе [Корниенко 2008: 166–167].

Память о ВОВ у моих коллег – сотрудников ИЭ АН СССР хранилась не только на стенде с фотографиями ветеранов рядом с директорским кабинетом, но и в отзвуках военного времени. В предпраздничные дни по длинному коридору четвертого этажа нашего здания на Дм. Ульянова (дом 19) туда и сюда шествовали сотрудники с любимой песней фронтовика – директора Института этнографии – АН СССР Ю. В. Бромля «Летят перелетные птицы». Сочный, полновзвучный аккомпанемент на баяне в исполнении В. Н. Шамшурова, будущего заместителя министра по делам национальностей, придавал шествию торжественность, воодушевление и трепетное волнение. И хотя некоторым сотрудникам в 1970–1980-е гг. – по молодости – не пришлось воевать, в памяти всплывали трагические поствоенные годы с первыми проблесками грядущего улучшения жизни и повышения градуса патриотизма, который тогда еще не признавали гражданской идентичностью.

Раздел II Элементы повседневности в сфере труда

1. «Айда по горох» – приглашение к адаптации

«Айда по горох!» – это были первые слова, что я услышал от своих сверстников, волею судьбы оказавшись летом 1949 г. в селе Тамакулье Каргапольского района Курганской области. С таким предложением обратился ко мне соседский мальчик Алеша Лукинов, который, вместе с Толей Юркиным и Володей Патраковым, стал моим лучшим другом на все годы депортационного периода, в сказочные школьные времена. Это было приглашение на колхозное поле, раскинувшееся на склоне горы между двумя селами – Тамакульем и Зырянкой. Поле заканчивалось березовой колкой, а на вершине горы гнездились анклавы душистой клубянки. Так называли клубнику местные жители.

Итак, внешне романтично началась моя восьмилетняя «командировка» по включенному наблюдению над собственной адаптацией и приспособлением моих южных соплеменников – спецпереселенцев к суровой сибирской экологии, а вместе с тем и в интереснейшую инокультурную среду и в непривычную сферу колхозной жизни.

Трагическая судьба и горькие страницы жизни депортированных родителей обернулись парадоксальной возможностью стать участником уникального эксперимента по изучению методом включенного наблюдения практик и технологий кросскультурного адаптационного процесса.

Яркие впечатления детства совокупно с навыками полевых наблюдений, обретенных во время экспедиций студенческой поры, организованных кафедрой этнографии исторического факультета МГУ, а также опыта, приобретенного позднее во время организации серии этносоциологических опросов, в том числе по международным проектам, послужили исходной базой для осмысления итогов не только адаптации спецпереселенцев в новую для них социально-экономическую инфраструктуру Курганской области, но и последующей реадаптации в Буджакскую степь, как исходную среду обитания.

Смысл моих воспоминаний, как известный в антропологической литературе этнологический «взгляд изнутри» в отличие от океана мемуарной литературы, состоит не в воспевании ностальгии, а в попытке уловить контуры формирования новой идентичности спецпереселенческого контингента, вызывать из небытия изгибы и изломы его ментальности и жизнедеятельности в непривычных и нелегких условиях чужбины. Вместе с тем обращение к детству и школьному времени позволяет рассказать о тех «внутренних течениях», под влиянием которых душа отгораживалась от жестокостей власть предержащих, от давления неуютной среды и от свалившихся в первое время депортации норм неблагополучия.

Подобно крутому всплеску в памяти, в свое время предопределенному русской этнографической потребностью осмыслить свои и чужие беды и ужасы исторического перелома, связанного с Октябрьской революцией и Гражданской войной, так и сегодня и в ближайшем будущем мы вправе ожидать наплыва воспоминаний не только о развале Советского Союза, но и о нескольких не вполне похожих друг на друга этапах переменчивой жизни советского общества во второй половине XX в.

Задача этого очерка, как и написанной на одном дыхании первой книги воспоминаний [Губогло 2008], – привлечь внимание в двум, к сожалению, маловостребованным нишам в ряду перспективных этнологических и этносоциологических исследований, посвященных антропологии адаптационных процессов к иноэтнической среде и антропологии, развивающейся во времени и пространстве идентичностей от этнической до гражданской и от тендер-

ной до региональной. Мне видится, что оба направления не страдают от избытка публикаций и от наплыва внимания со стороны теоретиков и практиков.

К редким новейшим работам, в той или иной мере касающимся каждой из названных «личностных» антропологии, можно отнести публикации С. С. Булгара, Е. П. Бусыгина, Л. М. Дробижевой, Г. А. Комаровой, В. А. Тишкова и некоторых других исследователей [Булгар 2003; Дробижева 1996; Комарова 2008; Тишков 2008; 2013]. Однако в них, как правило, антропология человека, основанная на автобиографических исповедях и других источниках, раскрывающих адаптацию в социальную или политическую среду или в лоно науки, излагаются не от первого лица, что неизбежно приводит к излишне осторожной самоцензуре или редакционным шероховатостям.

Итак, шел август 1949 года... Уже 17 лет в Советском Союзе действовали драконовские законы о неприкосновенности колхозной собственности. Два закона, в том числе один из них, названный в народе «О пяти колосках» и другой – «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной социалистической собственности», были приняты еще в августе 1932 г.

Одна из статей второго закона, в частности, предусматривала применение «вышей меры социальной защиты» – т. е. расстрел, в том числе по отношению к детям, начиная с 12 лет.

На меня и на моих новых сибирских приятелей, не достигших 12-летнего возраста, действие этого закона, понятно, не распространялось. Совершая набеги на колхозные поля, засеянные овсом вперемишку с горохом, мы, ясное дело, не подозревали о существовании конченавистнических законов, «подаренных» советскому народу по злой воле усатого вождя. По всей видимости, представители местных органов власти трактовали эти законы таким образом, что если бы в них речь шла о зрелых колосках, и прежде всего о пшеничных и ржаных злаках. Овес же с горохом на курганских полях высевали поздно, в основном для силоса. Корм колхозным коровам заготавливали из недозрелой кукурузной массы, лугового сена и недозрелой овсяно-гороховой массы.

Прошло почти четыре десятилетия после тех наших разгульных гороховых пиршеств, как в газете «Правда» появилось сообщение из архивов о том, что «к началу 1933 г. за неполные пять месяцев по закону («О пяти колосках» – М. Г) были осуждены 54 645 человек, из них 2 110 – были приговорены „к высшей мере“» (Правда. 1988. 16 сентября).

Однако вернемся к приглашению «пойти за горохом». Читатели, вероятно, обратили внимание, что в названии данного очерка: «айда по горох», я не заковычил это словосочетание. Дело в том, что заимствованное из тюркского языка это слово (*айда*) вошло в вокабуляр и стало достоянием русского языка. В Толковом «Словаре русского языка» оно «употребляется как приглашение или побуждение идти куда-либо: пойдем, пойдёмте» [СРЯ, 1: 27].

Характерны примеры, приведенные в этом «Словаре» из произведений классиков русской литературы – М. Горького («Фома Гордеев») и Г. Маркова («Строгов»). В первом случае: «Братцы! Айда за яблоками? – предлагает Ежов, вдохновитель всех игр и походов», во втором – «А ну, айда, мужики, домой, угрюмо сказал бородач».

Слово *айда* в редакции *хайди* в гагаузском языке означает близкое к слову русского и татарского языков *пойдем* – «айда, ну, ну-ка, ну же, давай пойдем» ([ГРМС 1973: 507], см. также [ГРПС GRRS 2002: 306]).

Итак, оказавшись насильственно переселенными из знойных Буджакских степей в холодные просторы западносибирской низменности с ее свирепыми ветрами и трескучими морозами, жарким коротким летом, болгары, гагаузы и молдаване вынуждены были приспособиться к новым климатическим, социальным, этнокультурным условиям. Соответственно, перед ними встала триединая задача физиологической, социально-экономической и психологической адаптации.

Источником для выявления контурных параметров адаптационных процессов, имеющих принудительный характер, в известной мере могут служить воспоминания в порядке постановки проблемы о сути и содержании адаптации в экстремальных условиях.

Первые, к слову, самые трудовые, адаптационные усилия спецпереселенцев 1949 г. пришлось на осенние месяцы, когда вместо любования пушкинской многокрасочной порой, которая для «очей очарование», надо было ежедневно думать о том, что бы еще на себя надеть, чтобы укрыться от стремительно наступающих холодов. Вместо предвкушения рождественских колядок и новогодних поздравлений, в круговерти декабрьских коротких дней и длинных ночей время уходило на оплакивание своей судьбы, на заготовку дров и на поиски продовольственных запасов.

Иными словами, первый год на чужбине превратился в череду малозаметных подвигов родителей по добыванию куска хлеба и по спасению от неумолимого наступающего повседневного холода.

В богатейшей отечественной и зарубежной литературе, посвященной массовым репрессиям, в том числе и по этническому признаку, особенно в получивших широкую известность публикациях Е. Гинзбург, А. И. Солженицына, А. Приставкина и многих других, наряду с документально подтвержденными описаниями ужасов и трагедий сталинского террора порой с мазохистским смакованием изображаются судьбы безвинно наказанных людей, в том числе отнесенных в категорию спецпереселенцев. Большая часть этих трагедий, выявленных в публикациях о наказанных народах и отдельных гражданах, адекватна реальности.

Однако в этих описаниях менее всего освещаются проблемы успешной адаптации спецпереселенцев к новым условиям жизни, к которым они были приговорены навечно в момент выселения. Между тем эти огромные массы людей, в одночасье лишенные всего своего достоинства, должны были начинать материальную и духовную жизнь как бы заново, с нуля.

В отличие от стратегии добровольной адаптации, предполагающей совокупность действий адаптанта с целью приспособления к изменяющимся условиям и образу жизни, стратегия принудительной адаптации состояла в ограниченной свободе выбора времени, средств и действий для приспособления к навязанным формам и образу жизнедеятельности.

В одной из первых типологических классификаций, предложенной в 1928 г. представителем биологической науки Л. Плате, в качестве мотивов и основных причин адаптивных стратегий были названы: 1) целесообразность, 2) приспособление к окружающей среде, 3) сохранение здоровья, 4) сохранение вида [Философские проблемы... 1975: 45–46; Митиоглу 1998: 113].

Каждый из перечисленных показателей адаптационного процесса в той или иной мере вполне мог бы быть прилагаемым и к принудительной адаптации, к которой были обречены спецпереселенцы. Однако, их стратегия была иной: прежде всего она состояла в том, чтобы выжить, сохранить себя и свое здоровье и жизнь. И жестокая трагедия этой стратегии заключалась в том, что единственным механизмом выживания служило здоровье. Добывать хлеб насущный ради сохранения жизни надо было за счет губительной растраты жизненных сил в ущерб своему здоровью.

Исчезновение одного из спецпереселенцев из села, в котором мы жили, и печальным свидетелем чего мне пришлось быть, далеко не единственный случай «добычи» чудовищной машины репрессий. По Интернету гуляют десятки надерганных в том числе из произведений А. Солженицына холодящих душу примеров:

«... Смертную казнь получил ивановский деревенский парень Гераська: на Николу вешнего гулял в соседней деревне, выпил крепко и стукнул колом по задку – не милиционера, нет! – но милицейскую лошадь» [Солженицын 1989: 427].

Портной, откладывая иголку, вколол ее, чтобы не потерялась, в газету на стене и попал в глаз Кагановичу. Клиент донес куда следует. Портной получил 10 лет по 581 статье «за террор».

Продавщица, принимая товар от экспедитора, записывала его на газетном листе, другой бумаги не было. Число кусков мыла пришлось на лоб товарища Сталина. По 581 статье ее посадили на 10 лет.

Тракторист Знаменской МТС утеплит свой худой ботинок листовкой о кандидате на выборы в Верховный Совет, а уборщица хватилась (она за те листовки отвечала) – и нашла. По статье за контрреволюционную агитацию трактористу присудили 10 лет.

Заведующий сельским клубом пошел со своим сторожем покупать бюст товарища Сталина. Купили. Бюст тяжелый, большой. Надо было на носилки поставить, да нести вдвоем, но заведующему клубом положение не позволяет... Старик-сторож догадался: снял ремень, сделал петлю Сталину на шею и так через плечо понес по деревне. Ну, уж тут никто оправдывать не будет, случай чистый. По 58-й статье 10 лет за террор.

Пастух в сердцах выругал корову за непослушанье «колхозной б...». Понятно, за подрыв авторитета колхозного строя ему дали 10 лет.

В бухгалтерии совхоза висел лозунг: «Жить стало лучше, жить стало веселее» (И. Сталин). И кто-то красным карандашом приписал «у» – мол, Сталину жить стало веселей. Виновика не искали... посадили всю бухгалтерию.

Не исключено, что нынешнему молодому поколению приведенные примеры могут показаться смешными, анекдотичными и почти невероятными. Но, как мне приходилось уже рассказывать, житель села Тамакулье исчез из села через три-четыре дня после того, как во время всенародного праздника во время выборов депутатов в Верховный Совет СССР в марте 1951 г., приняв «на грудь» излишнюю дозу спиртного, выразил вслух желание вступить в интимную связь с матушкой вождя народов, по злой воле которого был переселен из Гагаузии в Сибирь.

Кто бы мог подумать или подсказать мне, малолетнему смышленишу – сохранить письма из лесозаготовок Коми республики, чтобы потом с помощью факсимильного издания показать зачеркнутые черной тушью целые абзацы. Где они, черновики моих ответных писем от безграмотной супруги осужденного, чтобы получить представление о количестве трудодней, заработанных его взрослой дочерью – о том, сколько яиц удалось собрать в конце дня в сарае и под сельским домом, воздвигнутым на высоком фундаменте, о том, как скоро выполнен сталинский план заготовок молока и шерсти.

В процессах адаптации к местным условиям подростки и молодежь спецпереселенцев приспособлялась быстрее, чем пожилые. Так, например, мой дед быстро смастерил мне жостку, чтоб в соревнованиях с местными ровестниками я мог добиваться хороших результатов. Суть состязаний состояла в том, кто больше всего сможет подбить ее ногой без перерыва. Жостка представляла собой кусок длинношерстной кожи, к которой прикреплялась круглая свинцовая пластина. Подбитая внутренней стороной ноги, жостка взлетала, подобно бадминтону, и спускалась парашютируя. Нужна была хорошая тренировка, чтобы жостка взлетала и опускалась, не прерываясь несколько десятков раз.

Еще одной детской забавой было влезать на вершину тонкой березы и, раскачав дерево, «спускаться как на парашюте». Увы, однажды спуск оказался не вполне удачным. Самый решительный из нас Толя Юркин, будущий мастер спорта по борьбе, директор Каргапольской средней школы, героически взобрался на десятиметровую березу, верхушка которой вместо плавного («парашютного») спуска, обломилась. И хотя парашютист отбил себе печенку, все обошлось в конечном счете благополучно. С тех пор мы стали подбирать для спусков березы с тоненькими, более упругими стволами.

2. Хозяйственно-экономические векторы повседневной жизни

В отличие от многочисленной белой эмиграции, состоявшейся после Октябрьской революции и Гражданской войны, вынужденное переселение крупных контингентов населения из различных регионов Молдавской ССР выдвинуло перед ними серьезнейшие задачи по хозяйственно-экономической и социокультурной адаптации. Трудно в каких-либо единицах измерить адаптивный потенциал конкретного спецпереселенца. Ясно одно: для того, чтобы витальная энергия могла обеспечивать жизнь, надо, чтобы она накапливалась и расходовалась. В отличие от принципа маятника, энергия жизнеобеспечения накапливается по принципу самозаряжения.

Витальная энергия белой эмиграции в 1920-е гг. в значительной мере расходовалась на подпитку ностальгических чувств и на подавление чувства побежденных и изгнанных из собственной страны. Куда как красноречиво поведала об этих специфических до слез ощущениях ностальгии Юлия Сазонова, считавшая русского эмигранта в Европе идеальным и самым жизнестойким представителем человеческой породы и поэтому обратившаяся к изучению различных форм его ментальности и исповедания, в том числе в деле восприятия Запада, как инокультурной среды с точки зрения совместимости ключевых положений соционормативной культуры самих эмигрантов.

Спецпереселенцы, привезенные летом 1949 г. под конвоем из Молдавии в Сибирь, менее всего были озабочены на первый взгляд естественными чувствами ностальгии и тоски по родным очагам. В отличие от материально обеспеченных белоэмигрантов, перед ними со всей серьезностью встал вопрос обеспечения продовольственной стороны выживания.

Векторы хозяйственно-экономической, бытовой и социокультурной адаптации спецпереселенцев предопределялись, во-первых, насильственным переводом депортированных людей из частнособственнического сектора в колхозно-кооперативный; во-вторых, из климатической зоны Буджакского степного края в лесостепной ареал Западной Сибири. Бонитет почвы Буджака и новых мест поселения не имел принципиальных различий. Однако вместо безводной Буджакской степи и ее изнурительной летней жары, в Сибири короткое жаркое лето нередко прерывалось прохладными днями, а суровые зимы с октября едва ли не до мая месяца были совершенно непривычны для южан.

Здесь, увы, не рос виноград, не вызревала кукуруза, вместо привычных роскошных южных фруктов – персиков, айвы, чернослива, здесь росли ранетки – дающие карликовые яблочки. В палисадниках крестьянских домов повсюду в изобилии росла черемуха, боярышник, реже встречалась вишня и вишня (кустарниковая вишня).

На колхозных посевных пашнях значительный удельный вес занимали площади картофеля и свеклы, кормовых культур – турнепса, клевера, овсяно-гороховой смеси. Вместо привычного в Буджаке пастбищного овцеводства, здесь в Сибири преобладало стойловое животноводство. Зимнее содержание скота практически с ноября до мая требовало значительного запаса кормовых единиц. Особенно непривычной была летняя страда – выездная кампания по заготовке сена на заливных лугах, находящихся на расстоянии не менее 20–30 километров от некоторых деревень, в том числе от с. Тамакулье, и заготовка дров на зиму.

При анализе хозяйственных адаптивных стратегий некоторых народов Крайнего Севера к инновациям некоторые исследователи выделяют (крупным планом) две траектории, называя одну часть населения «промысловиками», другую – «оленоводами», ставшими синонимами понятий «покорившихся» и «непокорившихся» вызовам урбанизационного наступления на хозяйственную деятельность малочисленных народов в XVII–XX вв. со стороны российской государственности и христианизации. Ссылаясь на известные публикации А. В. Головнева

[Головнев 1997: 86, 87], авторитетная исследовательница социологии адаптации Л. В. Корель пишет:

Оказывая то явное, то скрытое сопротивление советско-российской экспансии, оленеводы сумели сформировать соционормативную культуру, способную противостоять индустриальному воздействию. Это уберегло (защило) их от необходимости глубокой адаптации к российской цивилизации, они ограничились поверхностной. В то же время другие народы Севера вынуждены были более радикально менять весь свой жизненный уклад [Корель 2005: 130].

В отличие от адаптационных практик малочисленных народов Севера, у контингентов спецпереселенцев не было выбора. Поэтому они вынуждены были радикально менять свой образ жизни и исторически устоявшиеся элементы своей соционормативной культуры.

Движущей силой хозяйственной деятельности спецпереселенцев было не стремление к обогащению, а инстинкт самосохранения. И еще срабатывала инерция соционормативной культуры, в основе которой была наработанная веками установка к труду. Она приглушала социальную несправедливость и вымещала комплекс неполноценности у гордых и независимых людей, попавших в жернова сталинских репрессий.

Одним из важнейших в стратегии адаптации к местным условиям жизнеобеспечения было обретение хорошей коровы. Особенно везло тем семьям, которым доставалась корова с высокой жирностью молока. В летний сезон хозяин такой коровы относительно быстро успевал выполнить «сталинский план» госпоставок, а оставшееся молоко сдавал на маслозавод в обмен на масло и обрат. Вареная крапива, смешанная с отрубями и обратом, служила хорошим кормом для поросят. К зиме вес «борьки», как и «синьки» достигал до 1 центнера.

Задача хозяев состояла не только в заготовке или дозакупке сена в зимний период, но и в создании условий для стойлового содержания. Ежедневно надо было стелить свежую солому, убирать за коровой и следить, чтобы она не замерзла на голом сыром полу. В летний период надо было наблюдать, чтобы корова не оставалась яловой и была покрыта в такой срок, чтобы время отела пришлось не на лютые морозы, а на относительно теплое время в конце зимы или в начале лета.

Исключительно ответственным было время ожидания отела и первые дни существования новорожденного. Категорически нельзя было подпускать хозяйских детей бодаться с поднявшимся на ноги, но не окрепшим теленком, чтобы теленок не вырастал бодливым.

По гагаузским обычаям, видимо, доставшимся от прошлой кочевой жизни, уход за скотом считался мужской работой. В обязанности взрослых мужчин входила заготовка кормов для коров, лошадей и овец, уборка хлебов и уход за лошадьми. В. А. Мошков, например, обращал внимание на то, что на рубеже XIX–XX веков дойкой овец у гагаузов «занимаются... исключительно только мужчины» [Мошков 1901: 21].

На второй год пребывания в депортации женщины спецпереселенцев, еще не вполне освоившие местные природно-климатические условия, работали на полевых работах наравне со своими мужчинами и местными женщинами. Кроме того, на их долю достались уход за домашней птицей, обязанности по огороду, заготовка кормов для коровы и овец. Они сажали (квадратно-гнездовым способом) картошку, на утепленных органическими удобрениями грядках выращивали огурцы, помидоры, морковь, свеклу, а также неведомые в Буджаке бобы и брюкву. Вдоль забора на картофельном поле или у себя дома на огороде росли подсолнухи скорее для красоты, так как в промышленных масштабах семечки не вызревали.

За первые два года спецпереселенцы хорошо усвоили огородную культуру «местного» разлива. На небольшом сравнительно участке до 20 соток каждая семья обеспечивала себя овощами на всю зиму. Они быстро научились завозить на участок перегной и помет, устраивать высокие грядки под огурцы, дыни, помидоры, засадили вдоль по периметру кустами смородины, крыжовника. От посадки фруктовых деревьев воздерживались по причине непод-

ходящего климата. Кроме мелких ранеток и кустов лесной вишни, фрукты, особенно косточковые, такие как сливы, абрикосы, персики, здесь не вызревали. Вместе с родителями, а порой и с близкими родственниками, дети подростки умели вносить органические удобрения, высаживать рассаду, высевать морковные, свекольные и другие семена. Обязательным обрамлением каждой грядки были бобы, несмотря на то что в районах выселения эта культура не была популярна. В то же время привычная в Буджаке фасоль здесь не вызревала.

Чувакская семья в с. Тамакулье, раскулаченная в 1929 г. и адаптированная в местную среду, обеспечивала хмелем едва ли не многие близлежащие села, сохранив по инерции высокую культуру выращивания хмеля, вывезенную из Чувакской АССР.

Заливные луга, отведенные жителям с. Тамакулье для сенокоса, находились в нескольких десятках километров вниз по течению в устье реки Миасс, где она впадала в Исеть. Сенокосная страда представляла собой целую операцию. Туда, где косили сено на лугах, в перелесках, в колках выезжали сельским табором и на берегу Миасса ставили шалаши.

Вокруг табора шалашей расставляли хомуты и другую конскую упряжь, как предохранение от заползания змей. Считалось, что змеи, которых на заливных лугах и в болотах было великое множество, не переносили лошадиного запаха.

Косили не только обычную луговую траву, но и осоку, обильно растущую на болотных участках, но дающую сено второго сорта. Дети от 12 до 17 лет верхом на лошадях подвозили к стогам копны сена на волокушах, сделанных из молодых берез или осин, стволы которых служили оглоблями, а на кроны с листьями складывали скошенную и высушенную в валках траву. В ужас приводили клубки змей на застарелых пнях, где они грелись на солнце.

К самой тяжелой и ответственной работе – скирдованию, подростков не приглашали. Иногда разрешалось подбирать подсохшее сено в рядках на конных граблях. Сидя на удобном сидении с дырочками, надо было регулировать рычаг, с помощью которого подымались и опускались серповидные зубья механических граблей. Взрослые мужчины, у которых уже были свои коровы и овцы, относительно быстро усвоили премудрости скирдования. Особенно тяжело было подавать на стог сено на навильниках. Зимой сено подвозили домой на колхозных лошадях.

Запрягать лошадей в телеги для весеннего вывоза навоза на колхозные поля или в волокуши для перевозки копен при скирдовании высушенного сена подростки учились методом проб и ошибок с 12–13 лет. Труднее всего в этом нежном возрасте было подсаживать дугу и затягивать супонь. Стертая в кровь коленка правой ноги, мозоли на руках выдавали подростка в том, что ему не раз уже приходилось запрягать лошадь.

Литературный герой романа А. П. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени» – ссыльный профессор Розенкамф – из ленинградских немцев – с трудом осваивал искусство запрягания лошади. Он доставал кожаную записную книжку с золотым обрезом, укреплял ее на воротах и начинал запрягать, согласуя свои действия с записью в шпаргалке, подготовленной со слов ветерана сельской жизни.

И делал все вполне успешно: – как замечает автор автобиографического романа А. П. Чудаков, – под чересседельник не забывал подкладывать потник... даже перед затягиванием подпруги заправски пихал коня кулаком в брюхо, чтобы тот выпустил воздух, – пока не доходило до хомута. Хомут в своем рабочем положении, то есть клещевиной вниз, не налезает на конскую голову. Его надо перевернуть обратно, после чего клещевину можно стягивать супонью [Чудаков 2013: 97].

Отец А. П. Чудакова, обычно присутствовавший при процессе как консультант, молча переворачивал хомут, надевал и снова переворачивал. «„Думконф!“ – бил себя по лбу профессор и делал пометку в книжке; в следующий раз все повторялось» [Там же].

Из приведенного текста видно, что автору романа А. П. Чудакову приходилось не раз запрягать лошадь. В этом можно быть уверенным даже несмотря на то, что он упустил одну

важную деталь: если супонь не была натянута до отказа, плечо лошади натиралось до кровавого месива. За это в сибирской деревне строго наказывали.

Сегодня, на заре нового тысячелетия, я вспоминаю, как более полвека тому назад мы семьей всю весну заготавливали торфяные горшочки для ранней посадки картофеля квадратно-гнездовым способом, заготавливали на зиму дрова, как вывозили перед посевом навоз на колхозные поля, как собирали колоски и убирали картошку, собирали урожай или грибы и ягоды в близлежащих лесах, как подсчитывали количество заработанных трудодней и с нетерпением ждали общеколхозные годовые собрания, чтобы узнать «вес» каждого трудодня, выраженный в количестве зерна, в свекле, в картошке и т. п. При этом обнаруживается парадоксальная вещь. Мои однокашники в Москве, родом из Тамакуля, Каргаполя и других деревень Каргапольского района, все перечисленные сельскохозяйственные операции вспоминают не без труда. И дело здесь не в качестве или объеме памяти, а в последствиях той адаптации, в которую была втянута моя семья наряду с семьями других спецпереселенцев и местных жителей. Все непривычные для жителей Молдавии сельскохозяйственные операции довольно бурно обсуждались на семейном совете. Переход из одной системы жизнеобеспечения в другую, восприятие непривычных традиций соционормативной культуры оставлял в душе и памяти более глубокую борозду, чем в памяти тех, кто родом из тех краев.

Особое недоумение у спецпереселенцев, оторванных от индивидуальных посевных площадей, огородов и виноградников, вызывало индифферентное отношение колхозников к земле, к колхозным лошадям и коровам. Колхозная инфантильность к земле и скоту выражалась в равнодушии к ним. Представление о крестьянской земельной собственности, имеющее для гагаузов и молдаван едва ли не сакральное значение, здесь, в колхозах, должно было «заместиться» принципом работы на ничейной земле, за качеством которой не надо было ухаживать и заботиться, нести ответственность, так как ее не надо было передавать детям по наследству.

В итоге, как отмечала И. В. Власова, обозревая состояние сельского хозяйства в регионах России, «рушилось крестьянское мировоззрение и представление о земле, труд на которой обеспечивал крестьянскую жизнь и культуру хозяйствования» [Русские 2005: 205].

Негативные стороны колхозного хозяйствования, с которыми столкнулись спецпереселенцы, стали для местных жителей на рубеже 1940–1950-х гг. привычным явлением. В то время как спецпереселенцы не могли в одночасье отказаться от традиционного опыта и привыкнуть к равнодушному отношению к своему труду и к земле-кормилице.

Ни газа, ни электричества, ни водопровода в деревне не было. Воду, как и у себя на родине, в Молдавии, спецпереселенцы черпали в Сибири из колодцев. Но в отличие от районов Юга Молдавии, здесь, в Сибири, на подступах к деревенскому колодцу вокруг сруба в зимние месяцы нарастал толстый слой льда.

Кадушка с заготовленной водой хранилась в сених, а в лютые морозы – заносилась в жилую комнату. Чтобы растопить утром печь, надо было с вечера занести в сени или в комнату охапку дров. Надо было умело расходовать дрова, рационально выбирая из поленицы, сложенной во дворе загодя, в летний период.



На этом месте стоял колхозный дом, в котором семья спецпереселенцев из 6 человек ютилась в комнате 12 кв. м., в том числе в зимний период с ноября до мая вместе с телятником, двумя поросятами и с полдюжиной куриц. Фото М. Н. Губогло, 2012

Колхозных лошадей и коров поили речной водой. Водовозом в зимние месяцы мог быть только сильный мужчина из числа спецпереселенцев. Он ездил за водой с бочкой, установленной на санях, прихватив с собой ломик или топор. Надо было сначала разрубить лед в проруби, залить водой обрастающую льдом бочку. Пока дышавшая на ладан лошаденка тянула сани к колхозной ферме, вода в отверстии бочки успевала покрыться коркой льда. Снова надо было работать топором или ледорубом. За заработанный в короткий зимний день водовоз получал причитающиеся на трудодень около 1,5 кг колхозной пшеницы и до 3-х кг овощей при хорошем урожае картофеля, свеклы и турнепса.

В гагаузском жизнеобустройстве до депортации так было заведено, что все члены семьи имели три формы одежды – будничную, праздничную и особую, свадебную, только для участия в свадебном церемониале. Соответственно, и питание состояло из обыденных, праздничных и свадебных блюд. Понятно, что, оказавшись в глухой и полуголодной сибирской деревне, поневоле пришлось забыть об этом триединстве. Тем не менее, глядя на то, как я был одет, никто и никогда не пытался подавать мне милостыню.

Можно допустить, что экстремальные ситуации, связанные с переходом из одной системы соционормативной культуры в другую, воспринимались в семье и оставались в памяти более остро, чем пребывание на протяжении всей жизни в одной и той же системе культурных координат.

Раздел III

Соционормативная культура как «Грамматика жизни»

1. Излом повседневности

*Что счастье? Короткий миг и тесный,
Забвенье, сон и отдых от забот...
Очнешься – вновь безумный, неизвестный
И за сердце хватающий полет...*
(А. Блок. *Собрание сочинений. Т. 3. М.; Л., 1960. С. 41*)

1. Переворошенный муравейник

*Терпение и труд...
И люди... выживут*
(Перифраз известного изречения времен депортации)

В дождливое июльское утро 1949 г. над Чадыр-Лунгой и окрестными гагаузскими и болгарскими селами, как над переворошенными муравейниками, струился горький и зловеющий гул разорения. Казалось, на Чадыр-Лунгу обрушилось вселенское зло, как океанское цунами, сметающее лучших людей и все живое.

У людей без суда и следствия отнимали не только дома и землю, не только самими выращенный и испеченный хлеб, не только лошадей и кур. Нет. Отнимали право на привычную повседневную жизнь, право на будущее. А в приговоре, отпечатанном на казенной бумаге, значилось: «Переселяетесь на вечное поселение!». Душа вскипала! Как ожог возникал вопрос: Куда? Почему? За что? По какому праву? Отнималось право на раздумье, на самоопределение, на традиционную, естественную человеческую жизнь. Идти на самоубийство было бы грешно по православным канонам. Побег грозил военным трибуналом. Оставалось одно: «Аллах сабур версии!» («Дай, Бог, терпенья»).

Пока подводы с хозяевами и конвоирами тянулись из перекрестных улиц Чадыр-Лунги вниз к железной дороге, параллельно с которой пробегала грунтовая дорога, лишь урывками мощеная случайным булыжником, седоки бездумно смотрели прощальным взглядом на дома, палисадники, виноградники, которые в соответствии со сказанным в «документах», им больше никогда не придется увидеть.

Страшно было смотреть, как в некоторых домах поспешно выводили из конюшен лошадей, коров, отары овец, как выкатывали хозяйственные телеги и праздничные фаэтоны. Оглядываясь на свои разоренные гнезда, выселенцы запоминали распахнутые ворота, рвущихся с цепей собак.

Через какое-то время вся насильственно изъятая движимость и недвижимость должна была стать «колхозно-кооперативной» собственностью. Но не тут-то было. Сегодня, по истечении полувека, тайное становится явным. Те местные активисты, кто вместе с вооруженными солдатами принимали участие в выселении «богачей» и были уполномочены регистрировать конфискованное имущество для передачи в колхоз, на самом деле «часть мелкого скота и птицы (овец, кроликов, кур) прихватили себе». При этом, как отмечали в мемуарной литературе очевидцы трагедии, часть награбленного шла «на шашлык и гулянки. Оставшееся принимали в колхозе. И там тоже его разбазаривали. Ведь мало скотину сосредоточить в одном месте. Ее еще надо кормить. За ней требуется уход. А кормов не было. Скот подыхал. Часть

его разворовывали». Что же касается другой части имущества, – продолжает свои воспоминания живой свидетель выселенческой вакханалии Петр Васильевич Люленов, – «оставленного в своих домах выселенными людьми, такое как одежда, различная посуда с соленьями и другими продуктами питания в подвалах, а также мелкий домашний инвентарь, такой как мебель, ковры и другие домашние атрибуты, то все это было растаскано, присвоено и распродано моментально» [Люленов 2003: 31].

Но не только соседи, родственники, озверелая голытьба принимала участие в растаскивании имущества выселенных людей.

Не все желающие, – пишет П. В. Люленов, – могли взять то, что они желали заполучить из богатства, оставленного в домах выселенных. Потому что возле каждого такого дома была поставлена охрана. Это было престижно, и я бы сказал, хлебное поручение тогдашних властей... По описи, комиссионно, колхозу передавалась только земля и крупный инвентарь (подводы, сеялки, машины для теребления кукурузы, прес для выжимки винограда и т. д.). Остальное богатство выселенного оставалось в распоряжении назначенных охранников этого дома. И потихонечку ими растаскивалось... Эти охранники неплохо тогда запаслись коврами, картинами, шкафами, кроватями и одеждой. А также продуктами оставленных в посудах и законсервированных для питания семьи выселенного хозяина (сало, брынза, мясо, туршу) [Там же: 31–32].

Во второй половине 1990-х гг., в пору активного законотворческого процесса в Российской Федерации по поводу восстановления прав репрессированных народов, активно обсуждались юридические аспекты полной реабилитации безвинно наказанных народов. Разработчики законов, в том числе правоведы, настаивали на том, чтобы наряду с политической и правовой реабилитацией закон утверждал и полную имущественную реабилитацию. Как эксперт Комитета Государственной Думы по делам национальностей и как сам вместе с семьей депортированный и лишенный семейного имущества, я не во всем поддерживал идею «полной» имущественной реабилитации. Я исходил из того, что значительная часть имущества выселенных людей не была отражена ни в каких списках, ни в каких описях и реестрах, так как была попросту разворована и растаскана организаторами выселения, соседями и другими лицами, охочими до чужой собственности. Я знал, что большая часть вещей навсегда исчезла, благодаря шустрой сметливости соседей, в том числе благодаря стараниям близких и дальних родственников, не терявших надежды в той или иной форме вернуть «спасенную» ими родственную недвижимость.

Долгие годы после выселения я настораживался и напрягался, опасаясь услышать в свой адрес: «кулачешкий сын». Уже в первые годы советской власти в районах Южной Молдавии как-то быстро в лексиконе полуграмотных представителей советской власти утнездились обидное, оскорбительное прозвище «кулачешкий дух», «кулачешкое отродье». Так, в частности, обличали лиц из числа зажиточной прослойки сельского населения, представители которой в явной или скрытой форме саботировали сдачу госпоставок, вступление в колхоз, или отказывались платить налоги во второй или в третий раз.

И хотя сельское общественное мнение не осуждало середняков и кулаков, официальная идеология проповедовала и утверждала логику И. Сталина по удушению этой прослойки. Личное хозяйство обеспечивало сельскому жителю в отличие от горожанина экономическую свободу. Власть не могла ему, в отличие от горожанина, ограничивать доступ к кормушке, открывая и закрывая заглушку к средствам существования.

Российская история в ее советской форме подтверждала в середине XX в. слова великого поэта, сказанные о ней на рубеже первого и второго десятилетия этого века:

Не всякий может стать героем
И люди лучшие – не скроем –

Бессильны часто перед ней,
Так неожиданно сурова
И вечных перемен полна;
Как вешняя река, она
Внезапно тронуться готова,
На льдины льдины громоздить
И на пути своем крушить
Виновных, как и невиновных,
И нечиновных, как чиновных...
Так было и с моей семьей.

[Блок А. 1960:314]

В мольбах о терпении и о снисхождении Божьем повозки со скарбом и скорбью двигались к товарнякам, что стояли на станции, готовые к погрузке. Народ безмолвствовал. И безмолвием своим, сопровождаемым рыданиями, отсутствием сопротивления, способствовал произволу и злодейству. Еще не успев уехать до места назначения, чтобы попасть в списки спецкоменда-туры, в которой надо будет отмечаться ежемесячно, люди уже «сами себя боялись» и только на «сабур», т. е. на терпенье, уповали. И нынешним поколениям вряд ли можно будет понять всю горечь и глубину несчастья, обрушившегося на мирное население, поднятое под дулами автоматов к отправке в Сибирь на «вечное поселение». Ужас перенесенной трагедии оставил неизгладимый след в душах спецпереселенцев, в том числе в облике моих родителей.



Фото. Родители после депортации с сетричкой Дорой и братиком Володей, 1957

Со всех улиц двух сел – Чадыр-Лунги и Тирасполя (Трашполи), еще не слитых в тот год в единый город, к железнодорожному вокзалу стекались под конвоем нагруженные нехитрым домашним скарбом подводы. Плакали дети, рыдали женщины, беспомощно выглядели унылые мужчины с побелевшими глазами. В опустевших дворах мычали раньше времени проголодавшиеся коровы, растерянно блеяли овечки, яростно перекликались ошалевшие петухи. Вслед за некоторыми подводами, тянувшимися по дороге к станции вдоль железнодорожного полотна, двигались испуганные соседи и протягивали сидевшим на подводах кому – каравай хлеба, кому – калачи, кому – торбы с мукой или кукурузой. В осиротевших домах страшно, как люди, были собаки, особенно те, которым не удалось сорваться с цепи, чтобы бежать вслед за хозяевами.

По мере того как на востоке светлело небо и пробуждалось село, к плачу выселяемых и вою собак присоединились причитания тех, в чьи ворота еще не постучались вооруженные солдаты и уполномоченный НКВД или МГБ по выселению. Когда из-за туч выглянуло покрасневшее от слез солнце, казалось, завывала вся Чадыр-Лунга от края и до края, от одной церкви до другой.

Опомнившиеся от первого шока ближние соседи и дальние люмпены кинулись в осиротевшие, наспех опечатанные дома и дворы, чтобы подобрать все, что плохо лежало. Хватили все, что пригодится в своем хозяйстве: добротный сельхозинвентарь, корма, запасенные на зиму или предназначенные для утренней кормежки. Иные соседи кинулись вылавливать домашнюю птицу, кур, гусей, уток и индюков.

У нас домашним курам, как и другой птице, в доме никогда счет не велся. Однако, когда мой младший брат несколько лет тому назад обратился к архивным документам, оказалось, что в нашем хозяйстве, согласно описи, было зарегистрировано не несколько десятков, а всего две курицы. Остальные исчезли.

Свидетель выселения 75 семей из болгарского села Кортен, известный общественный деятель, талантливый организатор сельскохозяйственного производства Петр Васильевич Люленов в книге своих воспоминаний не прошел мимо того злопамятного утра, когда сельскую тишину разорвал душераздирающий крик и плач выселяемой соседки.

Это было, – вспоминает наделенный хорошей памятью автор книги «Времена», – примерно в три часа ночи. Мы думали, что в их доме (в доме соседей. – М. Г.) случилось несчастье или кто-то внезапно умер. Ведь просто так, и так сильно, никто не плачет. Притом с причитаниями. Отец и мать сразу, на ходу одевая верхнюю одежду, побежали к ним. И, конечно, я за ними тоже. Когда отец подошел к их калитке для входа во двор со стороны улицы, там уже стояли двое вооруженных солдат. Никого во двор не пускали...

Отец с матерью... убедившись, что помочь ничем не смогут, ушли домой. Я, конечно, не пошел домой. Приспособился возле нашего, глиняного забора, и оттуда все наблюдал, удовлетворяя этим свою, еще детскую любопытность. Картина была жуткая. Сосед, хозяин дома, метался во все стороны, не зная, что делать. Или плачущих жену и детей успокаивать, или в неизведанную дорогу собираться. На сборы давалось всего три часа. Уполномоченный от местной власти, житель нашего села торопил их быстрее собираться... Я слышал, как он властным голосом предупреждал, чтобы одежду брали только ту, что можно одеть на себя каждому из членов семьи. И питание брать не более чем на трое суток [Люленов 2003: 36–37].

Замечу попутно, что «путешествие» от дома до Каргапольского полустанка заняло 14 суток.

До сих пор помню гудящую у двери машину и чьи-то слова: «двадцать минут». Оказывается, столько времени давалось нам на сборы. Только начинало рассветать. Мать вынесла нас, троих несмышленишей на крыльцо, на кого-то накинула шаль, на кого-то полушубок, а сама

металась в дом и обратно. Так мы уехали обживать новые земли. Да еще с клеймом на всю жизнь: «кулаки».

Выросли мы, – вспоминает В. Голикова, – в поселке, в далекой Сибири. Родители валили лес, иногда им удавалось приехать к нам. А мы в их отсутствие где голодали, где ягодами кормились [Сенченко 1989: 2].

Рано утром, – вспоминает П. Бузаджи, – всех подняли, погрузили на подводы, в последнюю минуту сюда посадили и престарелую бабушку, но дяди уговорили оставить ее. Взять что-нибудь из вещей? «Вам хватит и одной газеты, чтобы укрыться», – съязвили усердные исполнители воли вождя народов.

Отца в тот день не было с нами, его забрали перед этим. Мы были нагружены в товарные вагоны, стояли в Бессарабке, когда он нас нагнал, его выпустили. Он пришел в село, узнал, что нас уже отправили, и пошел на поиски. Так как нам всем твердили: переселяем рабочую силу, он захватил с собой топор. Им и прорубили дыру в полу товарняка, отгородили «туалет» ширмой (Ленинское слово, 1989. 11 июля. С. 3).

2. Аллах сабур версин (Дай, Бог, терпенья)

Мой дед, как владелец более 12 га земли и значительного для зажиточного крестьянина имущества, был обречен для включения в депортационные списки даже несмотря на то, что в течение 1947–1948 гг. «добровольно», под дулами автоматов, сдавал последние зернышки хлеба представителям советской власти, МГБ и НКВД. Но в иных гагаузских селениях были люди, случайно попавшие в списки для выселения.

В 1949 году, – вспоминает П. Бузаджи, семья которого вторично подпадала под репрессии, – на нашу семью вновь обрушилась беда. Из всех Чок-Майданцев не нашли большего «кулака», чем мой отец, который первым подал заявление в колхоз, сдал всю тяговую силу, провел первую коллективную борозду. В сущности, бывший председатель колхоза тоже был поставлен в безвыходное положение. К нему пришли на «уточнение» списка: «а не найдешь, кого выселить, сам иди вместо него» – сказали ему. Вот и назвал он нашу семью, в которой было 11 человек (Ленинское слово. 1989. 11 июля. С. 3).

Вряд ли депортированные в Сибирь гагаузы подробно знали всю цепочку аббревиатур ВЧК – ОГПУ – НКВД – МГБ – КГБ, но мне в годы депортации, однако, приходилось часто слышать проклятия в адрес МГБ, представители которого с особой жестокостью отбирали хлеб в первые послевоенные годы и вели «воспитательные беседы» с теми из местных жителей, кто категорически не хотел вступать в колхоз, чтобы не сдавать в «братскую могилу» колхозной собственности свое имущество.

Блестяще организованное злодейское выселение многих тысяч гагаузов, болгар, молдаван и представителей других национальностей не встретило сопротивления со стороны выселяемых. И дело было не только в тщательно спланированной операции, с учетом уже имеющегося опыта по депортации балкарцев, турок-месхетинцев, немцев Поволжья, крымских татар и ряда других народов, не только в привлечении к этой акции вооруженных сил. В основе оцепенения, охватившего обреченную социальную прослойку, лежал вековой страх, подобно страху безмолвствующего народа и народов России.

Корни этого страха, во-первых, залегали не только в роковой беде императорской России в истории ее безмолвствующего народа, о чем, в частности, была написана опубликованная на Западе книга известного барда Александра Галича «Поколение обреченных» [Галич 1974; Свирский 1979: 472], но и, во-вторых, недавняя история, когда народы Бессарабии в межво-

енном периоде оказались под оккупационным режимом, убивавшем любые проявления этничности и этнокультурной идентичности. Популярным ругательством в идеологии правящего режима Королевской Румынии было «minorite» («меньшинство»), обреченное на ассимиляцию. В школах и официальных ведомствах, в больницах и магазинах запрещалось говорить на языке своей национальности. Была составлена программа выселения гагаузов за пределы Бессарабии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.